

БЕСОСКАЗАНИЯ



ВОЙТ СОДОМА

БЕСОСКАЗАНІЯ

СБОРНИК РАССКАЗОВ

Лето, тошнота, тревога.

Кабан

Он, как будто склонённый у воды кабан: рваная борода цвета полированной меди, узкие хищные глаза с густыми ресницами, вздёрнутый раскошегаренный нос. Смотрит на себя и дивится: «Где моя молодость? Стар уж стал, куда мне браться за оружье-то?» Так и думал. Багровел закат, невыносимый закат, надоевший закат — темнело у него дома.

Встал да зарычал в своё оконное отражение:

— Ба-аушка!

Прибежала старушонка, жиденькая, с прялкой в руках, на сына уставилась простодушными глазами.

— Что, сынок? — спрашивает.

А он, как кабан у воды...

Пошла рябь по глазам; не видит собственного лица, заросло! Пошёл брить. Стоит на бане и скубает лисью щётку. Вырвал волос — из поры кровь клубится. Порычал маленько, достал охотничьи спички и прижёт кровь — запеклась. Дальше мажется. Дух захватывает. Лицо перекошено, как осока. Старое и пугливое лицо, кому нужно такое? Принялся ковырять. Щёки себе все обжёт, покраснел, а он только и делает, что злобно, с соплями, похрюкивает в горло, а потом отхаркивает жёлтую комковатую херь.

— Агр! Сигары! — зарычал.

Баушка пришла, полотенечко принесла, ему тычет: бери, сынок, утрись. А он ей толстым борщовым пальцем кажет: не до полотенечка! Выдернет в ноздре волосок — в дракона обращается. Подставь свечу к носу — так выдохнет пламя в сажень. Как кабан у воды, а ещё за окном гремит, тучи ленивыми змеями друг через дружку проходят. Любил засматриваться на облака — как увидишь чёртика или Мортю — без духа падаешь.

Однажды упал в сених, разбил голову — потекла сгущённая кровь. Артерию поди не задел, а цвета тёмного, вишнёвого... Рычит больна голова — нарычаться не может. Лицом уродливый стал, на месте бороды точки, точно угри. Где прижёт да перебрал — покраснение. Усы — где бы: проседь рыжая, неаккуратная. Баушка плачет: «Ой, изуродовал себя, ой изуродовал!»

Дождь пошёл. Вышел он на двор, за топор взялся; а топор тяжёлый, руки не держат. Как тут полено зарубать? Бросил эту затею. Пошёл да напился водки. Баушка из дому убегает, хлопочет. Боится его. А тут радуга вышла — он зарычал на всю округу хриплым баритоном:

— Ра-аудись, ле-ес!

Задушил мутузными кулаками курицу: горло сломал, живьём изничтожил. Оставил лежать у хлева с подёргивающейся ножкой, тянущимся носком и острым когтем. Умерла несущка.

Кроликов в печь закрыл, и давай топить: дым вонючий шёл, чёрный...

На огород, безумец, выбежал — так соседская собака как уловила-то его — кошмар! Начала бежать, думает — вредитель!

Сосед ей кричит:

— Сучка! сучка! Чик-чик-чик! Чмок-чмок!

А ей по боку. Ну, мужик радугу увидел. Не полный диск солнца, стёклышко, кристаллики. Ноги в земле стебельками взялись.

Собака бежит-харкается. А мужик улыбаться начал: ему показалось, что родилась у него доченька, маленькая, полтора ста килограмм. Божился.

— Ох, Господь, только дай мне сойти, дай сойти!

Собака накинута, в ноги зубами лезет, всё вкусить охота. Мужик-то, по правде говоря, о собачонке больше не думал. Затаптал башмаком, и всё тут. Сосед руками разводит и стонет вдали.

А вот мысли кабана были какие:

«Радуга, колобок ты мой, что ты, обрадовала меня всё-таки? Сколько годов, а ты тут появилась. Без жёнушки-то. Вот баушка обрадуется! На своей старости внучку повоспитывать, грудное молоко возобновить, младенца понюхать... Приплодик ты мой! Выкидыш ты мой! Трупик ты мой бледненький, с глазками-то пустыми, стеклянными. С кожей, малыш, как амфоры. Такая ты! Ишь бойкая!»

Сказывают, сошёл с ума. Чёртики, а потом Морта. Баушку убил и сам запропастился на погосте рядом.

Ограничение

I

В её доме на большой бамбуковой стене висел плакат с Юкио Мисимой. Изображение иллюстрировало момент сэппуку.

Мне известно, что читатели часто влюбляются в напечатанный образ, будь он хотя бы немного литературным. Если я подробно опишу внешность этой девушки, которая сыграла здесь свою роль, рискую не получить должного результата и оказаться незамеченным словом. Поэтому кратко: её звали Масита, она была младше меня на пять лет, имела пляжную бледность, стройную фигуру и маленькую грудь.

Меня зовут Такиваза. Своё тридцатое лето я провел там же, где и первое. Я родился на портовых японских берегах в семье священника и кухарки. После смерти матери я покинул родной дом. Мой отец, служитель, читающий кафизмы в местной церкви, рассказал о своём тяжёлом состоянии и попросил меня оставить его одного. Практически всю прибыль отец получал за то, что исповедовал людей; они, как известно, очень щедры, если сеанс исповеди их преподнёс.

На похоронах матери я же не был. Тяжко заболевшую, я навещал её ежедневно, я видел, как она похудела, и видел, что недолго будет играть песня. Врачи сказали, что нужно готовится к поражению; при росте метр семьдесят она весила тридцать три килограмма, была бледна, её рвало, как при беременности. Мама умерла в четыре часа утра. Отец написал мне письмо, где об этом оповещалось, и попросил денег на панихиду.

Возможно, я стал самостоятельно жить позднее обычного. Зарабатывал, разгружая товары в порту. Когда всё улеглось, я снял номер у старого хиросимского прокурора, который предлагал вполне хорошую цену платы в месяц. Каморка была своеобразной: стены покрыты голубой эмалированной краской, маленькие окна обрамлены белыми створками, потолок изукрашен привычными здесь синтоистскими мифологемами. Деревянный пол скрипел под ногами (со временем я заучил неустойчивые доски и передвигался бесшумно). В номере находилась одноместная кровать, скорее напоминающая нары, небольшой столик из искусственного красного дерева, резная галтель, сортир, зеркало и множество полок, на которые мне не было что поставить. Меня не смущала сырость, и живя в этом номере, я всё так же ходил на ночную работу и пересылал какую-то часть денег отцу, у которого никто не хотел исповедоваться. Изредка посещал могилу матери.

Прошёл один год. На свой тридцать первый день рождения, летом, Масита пришла ко мне с крохотным шоколадным тортом. Мы сели за стол и долго говорили. Она выдавала что-то потешное и тихо смеялась, а я улыбался. Я рассказывал ей, что за пять месяцев ослаб, указывая на

впалые мешки под глазами и нездоровую щетину; рассказывал, что у отца совсем уж всё плохо: недавно на исповеди его избили и забрали все деньги. Он написал мне письмо, просил приехать, глухо рыдал, — говорил я ел, — лицо не переставало краснеть. Масита положила свою руку на мою. Я продолжил о том, что отец продал дом и ушёл в монастырь, покинув город.

— Масита, ему всё ни по чем. У него не было мысли, что это бог не уберёт, его мысли чисты.

— Догматически чисты, — после задумчивого молчания сказала она. — Я училась в Польше, в католическом университете, и мы проходили философию. Я слышала, что любая догма, данная богом, — нравственная. То есть она нужна для того, чтобы не перейти... ограничение.

Тогда я сказал:

— Любая догма — это страшно.

Масита пожала плечами и слизала с ножа кусочек торта. Я почувствовал, что мы не закончили.

— О каких ограничения ты говоришь? — спросил я.

— Может быть, человеческих.

Здесь я ощутил неприязнь и выпалил:

— Единственная догма — это ограничение. Все правила созданы для введения человека в общество.

— Необязательно в общество, Такиваза. — Масита закашляла.

— Ради чего отшельник есть аскет? Того ради, чтобы не пересекаться с человеком. У него ограничение, Масита, ограничение! Не видется мне с людьми, не есть мне мяса — вот они.

Я обернулся к тумбочке и взял трубку. Набив её душистым табаком, закурил. Масита смотрела на меня так, будто бы знала дату моей смерти.

— В конце концов, мы все ограничены... — тихо начала она.

Я, не слушая её, вынул трубку из рта:

— Если догма — это осмысление нашей жизни богом, я поставлю под сомнение само существование смысла.

Масита не любила, когда я ударялся в подобные размышления, ибо знала, что в таком состоянии я неисправим и вспыльчив, даже раним. Она глядела усталыми глазами, а потом вытянула пальцы, прося покурить. Я смиренно дал; однако вместе с этим ждал, что сейчас она нечто скажет.

— Я не думаю, что это уместно, — выдыхая, сказала она. — Я взяла это из детерменизма и считаю, что все мы предопределены в конечном итоге. То есть... в самом конечном. Естественное ограничение — смерть — не даёт нам жить вечно.

Я растерялся.

— Смерти нет. И я вообще говорил не про это. Когда рождается ребёнок, он переплетён со своей матерью.

— Пуповина — это ограничение, — воодушевлённо сказала Масита.

— Нет, это помеха...

Тем временем мне начинало надоедать. За окнами белело небо, тучи исчезли вместе с солнцем. Непонятная погода: будет дождь или нет?

Масита перестала курить.

— Не понимаю твоё возбуждение. Ты хочешь быть неограниченным? Как дитя хочет быть взрослым, а для чего, не знает. Сейчас ты следуешь правилам, и ты не против, наоборот. Ты знаешь, что огонь — это горячо, и не съёшь в него пальцы.

— А ты съёшь в себя пальцы, зная, что это приятно.

— Нет, — она нахмурилась. — В этом я себя ограничиваю.

У меня затекла шея, я лениво попытался её размять.

— Ты ограничена, наконец, во всём, — сказал я. — Масита, это больше, чем сверхчеловек, — человек без границ. Он не запрещает себе ничего, он считает всё своим.

Масита встала и сгорбилась. Её маленькая грудь не казалась мне привлекательной.

— Не будь таким, Такиваза. Я, например, не хочу быть животным. Я хочу быть добрым человеком.

Мы простились и я проводил её домой.

Вернувшись к столу, я увидел, что моя часть торта нетронута.

II

Если ограничение это стена, через которую нельзя пройти, я порасту мхом.

Как-то я очень устал после работы. Мою голову наполнили похожие на вышеописанное мысли, я потерял тормоза, и мне показалось, что настала пора провести эксперимент. Я написал Масите, что она была неправа, порезал палец и пустил кровь на бумагу. На следующее утро она стучалась ко мне в номер. Я не открыл ей, руководствуясь тем, что одно из самых распространённых переживаний — ссора с близким человеком; с Маситой мы были, безусловно, родными друг другу людьми, и я отказался от неё. Когда Масита развернула письмо, в надежде прочитать что-то хорошее, увидела кровь. Содержание адресованного ей письма было страшно; я на пустом месте породил тревогу в её невинном сердце, заставил усомниться и упрекнул её за вчерашние высказанные слова.

Масита стучалась долго и настойчиво. Я не подходил к двери, не смотрел в глазок — словом, делал всё, чтобы лишить её доброй мысли. Признаться, слыша это, я ненароком задумывался, а мою грудь легонько щемило. Было неприятно, вот что. Но я понимал: если сейчас открою дверь и расскажу обо всём Масите, то буду предварительно ограничен с её стороны, поэтому я уходил максимально вглубь комнаты, стараясь не поддаваться звуку ослабевающего удара хрупкого кулака, всеми силами заглушал это и игнорировал. Вскоре, как мне показалось, Масита ушла. В дверь перестали тарабанить. Я совершил глупость и подошёл к выходу, чтобы посмотреть в глазок. В этот самый момент, когда я

прищурил один глаз и всмотрелся в тёмную площадку, навстречу мне показался её голубой зрачок, рассечённый прядью. Я отпрянул, постоял несколько секунд в испуге, а затем медленным шагом вернулся в слепую зону. Ещё тогда, как Масита, по-видимому, севшая у моей двери, услышала шорохи и поднялась посмотреть, я понял, что она не примется стучать.

Я не совершал попыток посмотреть, ушла она или нет.

Вот в чём была проблема: вина! Её так тяжело искоренить. «Как я могу двигаться дальше, если не могу переступить самое созревшее, самое первое ограничение?» Мне стало холодно, спину натянул страх, я боялся и предал себя; с ног до головы разлилась слабость, хотелось будто плакать, и слёзы нет-нет да подступали к глазам, но ни того ни другого не произошло. Я сгорбился на стуле. Если Масита — ограничение для меня, то как я могу смотреть себе в глаза после слов о том, что она была неправа? Может быть, она была безмерно права и это укололо моё самолюбие? Я знал о своей непоколебимости и невозможности извиниться; несомненно, это ограничение, и оно изначально тяжёлое для меня. Однако ограничение — есть всего лишь перечень чувств, особенно в моём случае. И я вспомнил, как смотрел на розовые соски проститутки, которая заправляла мою кровать, а после закалывала на чёрных волосах кроваво-красное украшение. Я впервые задумался о том, что так подвержен ей, женщине, что только она сейчас может исполнить мою вселенскую потребность в сексе. Я боялся разлуки с нею. Но она не больше не хотела и просила деньги. Тогда желание спало с моего тела, голову посетила неприязнь к проститутке и к самому себе. Это выразилось на моём лице. Я утёр усы, словно это было молоко, я был в бессилии и злобе. Стало ясно, как ограничение, налаживаемое человеком на себя, зависит от ситуации. Стоя перед нагой проституткой, по-заячьи выпятившей нижнюю губу и выдвинувшую ладонь в ожидании денег, я понимал: запретить себе вождение от неё — ограничение; разумнее поддаться желанию и взять её силой, так как отсутствие желания у неё — ограничение меня ею. Выходила моя приспособленность к её действиям. С другой стороны, моей неограниченности касательно её тела, можно сказать следующее: я не сам решаю, заниматься ли мне любовью, а так или иначе зависим от настроения, которое определяет меня в этот момент. Я по-прежнему грешу, что хочу эту бледную проститутку, не зная, чьё именно решение этому способствует. Проще говоря, я ограничивался в свободном сознании, если видел перед собой красивую девушку, её упругую грудь и бельё, натянутое так равномерно, без единой складки.

Я подошёл и посмотрел в глазок. Никого не было. С лёгкостью внутри достал из кармана ключи и медленно провернул их. Мои руки вспотели, послышался резкий запах стали. Я переступил порог, готовый в любую секунду исчезнуть обратно, и выглянул на лестницу. По ступенькам, укрытым красным грязным ковром, ступала, сутулясь плечами, Масита. Она только-только начала уходить. Услышав лязг

ключей, ещё до того, как я открыл дверь, она остановилась. Я видел: правая часть её волос была взлохмачена, так, будто бы она сидела подперев голову рукой. Я ощутил укол в грудь, вот оно, напрашиваемое ограничение — закрыть двери; я остался стоять. Масита обернулась, взглянув на меня. Её глаза показались мне сухими, в уголках были кисляки от усталости или плохого сна, напоминая мне крошки просфоры.

— С тобой такое было, — начала она, — и ты ищешь поддержку в таких глупых затеях. Ты не можешь объясниться. — Она сравнялась со мной. — Это такой протест? Только мне от него нехорошо. И ты же знаешь это, что мне нехорошо, когда ты переживаешь.

Её речь показалась мне убедительной и заранее продуманной. Она явно мыслила, что сказать, вдруг появился я.

Масита плавно подняла руки (так сдающийся солдат показывает, что он безоружен) и обняла меня. Я ощутил её тёплую плоть на спине.

— Мне было очень тяжело в Польше. И мой преподаватель философии обнимал и говорил, что объятий достаточно для самой очерстневшей души. Сравни, что тебе приятней. Такиваза. — Она отодвинулась и посмотрела на меня. — Я ведь есть! Почему ты забываешь, что у тебя есть я?

Прискорбно, ибо я не хотел её обнять. Она часто говорила это, и действительно, объятия утешали меня, как ребёнка. Что же, теперь я всё понимал: Масита старается облегчить мой эксперимент путём всё того же ограничения. Эта мысль вонзилась в меня холодным презрением. Поначалу я удивился, был растерян. Масита что-то говорила, начиная гладить мою спину. Вдруг мне стало страшно от нового ощущения; действия Маситы меня более не трогали. Это было бесполезно — обнимать меня.

— Масита, всё, — улыбнулся я искренне, чем-то довольный.

И тогда увидел в глазах Маситы испуг; она поняла, что именно «так легко», сглотнула и отстранилась, неживая и наигранная. После она умоляла зайти вовнутрь и всё обсудить, на что я отнекивался. Твердя, что всё в порядке, велел ей идти домой, но Масита возбудилась и лишь топала ногой: «Нет! не пойду!»

Мне нужно было многое обдумать, а присутствие Маситы лишало всякого спокойствия. Я ещё раз сказал ей, более грубо, схватив за локоть, но она вырвалась и молча смотрела на меня воспалёнными глазами.

— Ты ограничиваешь меня! — закричал я, теряющий терпение.

Масита умолчала. Она не знала, что делать, и только вздыхала. Затем побежала вниз. Всем телом я ощутил, что в этот момент она должна разрыдаться, но было пронзительно тихо.

Я вошёл в номер, запер двери и лёг на кровать. Вот я понял, размышляя: отношения между мной и Маситой были определёнными. Она, как это не странно сознавать, ограничивает меня в возможности контактирования с нею. Это нужно было незамедлительно исправить,

подумал я.

III

Проснулся, когда дождь вонзился в моё окно. Я увидел, что вдали густые тучи накрыли собою верхушку красного храма. Он был очень стар и выделялся на фоне остальных. По бокам от него росли вишни. Впрочем, особенностью этого храма было то, что он смешивал в себе несколько направлений буддизма. Служащие там люди крайне нездоровы (насчитывали тридцатую преисподнюю). Ходят слухи, что под храмом находится темница с инвентарём времён католической инквизиции.

Я вспомнил Маситу. Пальцы потрогали белое дерево окон, большая часть неба была серой, безжизненной. Я не видел белого или чёрного цвета, это было сплошное серое небо. На горизонте тлела приятная глазу виньетка: это солнце резало всё вокруг. В некоторых местах видел чёрные облака, с них длинными струями падала вода, а грома не было. Я ударил по окну, осколки попали под ноги, на улицу, на пол. Дождь захлестнул меня банным веником, тело задышало, летний дождь. Иногда хотелось так сделать — сломать окно. Куда-то делась былая немощ. Нет, это не так уж и легко, скорее ответственно, — не иметь ограничений.

Я отправил Масите несколько фотографий через знакомого почтальона Хютукиру. Однако письмо в ответ я не получил, и три дня длилось молчание Маситы, пока на четвёртый она не пришла ко мне.

От меня дурно пахло: мне не хотелось мыться, и я не мылся. Я вообще перестал делать то, что не принесёт мне удовольствия.

Масита спросила, почему от меня пахнет:

— Депрессия?

— Нет, — ответил я. — Депрессия, как и любая другая болезнь, ограничивает.

Масита вспыхнула и взялась за нож.

Она кричала:

— Ты заладил!

— Масита, ты не хочешь меня убить. Ты *ограничена*. Во всём, со всех сторон на тебя нацелены транквилизаторы, куда деться? Нравственность, законы, мораль, чувство долга. Да ты же во всём ограничена! Посмотри на меня. Я не такой. Я подумал, и понял, что не такой. Я больше не слушаюсь.

— Сейчас же замолчи!

Приказ побудил меня ударить её, слепо, без задней мысли. Она повалилась на пол, а нож выскользнул.

Масита плакала. Шёл дождь. Она лежала в куче осколков, которые шумели под её телодвижениями, она приподнималась и начинала плакать пуще. Её лицо побледнело до того, что больше не было сравнимо с пляжным. Кажется, её тошнило, не уверен. Это был плач

ограниченного человека. И что странно? — я мог бы оказаться в её положении, и что бы я сделал зная, что передо мной стоит человек, разрешивший себе всё, избавившийся от привязанности и суда? Я превосходный психолог, так как мне не составляет труда признать о болезненности своего мышления. Это легко — признаться. Для того, чтобы лишиться сострадания, нужно безгранично много страдать или вообще не знать, что это такое.

Я подал руку Масите. Сначала она взглянула на неё, потом в мои глаза, потом опустила и уставилась вниз. Она *не приняла* мою руку. Странно, но желание помочь — какое-то созидательное желание — не исчезло полностью; слегка погасло; не появилось взамен ему другого. Я сел рядом на холодный ковёр и долгое время не мог распознать, что мне хочется сейчас.

— Такиваза, я тебя не знаю, — начала она. — Думала, что знаю, а на самом деле нет.

Я покачал головой, словно человек, презрительно уверенный в поражении.

— Ты получила фотографии?

— Да. Спасибо.

— За что спасибо?

Масита глубоко вздохнула.

— За фотографии... Зачем ты отдал их мне?

— Мне так захотелось.

— А почему? — Масита обвела моё лицо своими добрыми глазами.

— Мне несколько смешно. Знаешь, в чём ты ограничен?

— В чём?

— Ты действуешь, как животное. А на животное, дикое человеку, — копьё и яд. Я думаю, тебя убьют за это.

Я сглотнул желчную слюну. Схватив в порыве безмолвного иступления стул, я сжал ножки и со всей яростию грохнул им по её голове. Масита закатила глаза, и умерла. Я понял это, когда маленькая грудь её перестала вздыматься. Подойдя к разбитому окну, я увидел своего хозяина — хиросимского прокурора. Он глядел на меня волком.

Я очень хотел выстрелить в него из ружья, однако оно не оказалось на стене. Меня это, впрочем, потешило.

Спустя двадцать минут я был заключён. Сперва конвой вывез меня за пределы префектуры и оставил сидеть в отделении. Возле меня постоянно находился высокий полицейский.

Когда они схватили меня, я в последний раз украдкой взглянул на Маситу; но вместо неё увидел человека, которого убил. Удивительно, подумал я, лицо Маситы выражало спокойствие. Не запомнив, каким оно было до смерти, теперь я не мог сравнить два образа.

Я вспомнил рассказ моей матери из детства: человека с абстиненцией поместили в комнату с камерой видеонаблюдения. В помещении было

всё для жизни: писсуар, кровать, запасы еды и воды. Помимо этого, в комнате находились опиаты. Человеку сказали, что в один из трёх дней камера будет работать, но остальные два — нет. Ему поставили условие: если камера запечатлит момент употребления, его лишат опиатов. Человек умер от передозировки на третий день.

К чему я вспомнил её?..

Мама говорила, что это рассказ о грнях человеческой воли.

У меня пересохло в горле, я попросил у конвоира воды.

— Зачем ты это сделал? — спросил он, протягивая мне стакан.

Я взглянул на него: посаженные глаза, чёрные цыганские волосы, бакены.

— Откуда ты? — недоверчиво улыбнулся я.

Он молчал.

Зашёлкала ручка двери, и в кабинет вошла Масита в сопровождении полицейских. За ней — три каких-то бедных японца. Их поставили в ряд со мной.

Полицейский спросил, обращаясь к Масите:

— Кто из них вас убил?

Масита долго смотрела на каждого из нас, утирая непрерывно льющуюся из головы кровь.

— Все трое, — сказала она, глядя на японцев. — Они ограничены.

Искушение полуночного карася

У пруда сидел молодой адвокат. Сложив руки он сидел, ничего не делал, был одет в чёрный низ и белый верх. Луна в тумане, как будто на воде. Полнолуние. Круглая луна, полный диск.

Адвокат ждал дочь, но его жена овдовела.

— Милая ночь, заведи меня отсюда, если есть куда. Просто покажи мне иные пути, которые я не видел, а я сам найду дорогу. Мне не страшно жить, ночь, я не такой...

Подплыла рыба — полуночный карась, уродская божья тварь.

— Пойдём, — говорит карась, — со мной; покажу, — а жабры его мерзко-мерзко дышат, гнилое зелёное лицо, веснушки.

Адвокат удивился и переспросил:

— Кто ты? и что хочешь от меня?

— Я, глупый ты человек, ночь, пришедшая за тобой. Только что ты просил меня забрать тебя. Пойдём?

Из рта рыбы на последнем слове вытекло много воды.

— Конечно, я пойду с тобой. Но куда?

— За мной! — сказал карась, развернулся и исчез в пруду.

Адвокат же не сдвинулся с места. Рыба нырнула, в нос ему ударил запах разлагающихся водорослей. Дурной пруд! Слава о нём — дурная.

Карась вернулся, выплыв, и морда его торчала в каком-то нетерпении.

— Ты что сидишь? Я уйду!

— Уходи, если так, — ответил адвокат. — За тобой в воду не пойду — утоплюсь.

— Не забывай, — говорит, — что ты просил: «Покажи мне иные пути». Я тебе и показываю. За мной!

Карась высоко подпрыгнул и, юркнув, погрузился обратно.

Адвокат сидел в раздумьях. Да и думает: «Ай, чёрт с ним! Пусть это и дьявол меня искушает — пойду!» Разделся догола, сжал оскаленные зубы, предвещая холод, и прыгнул в пруд, тут же плывя на дно за полуночным карасём.

Карман

Стократно свят

У кого лежит в кармане то, что

Глазами не увидеть, мозгами не понять.

Я стоял на давно заброшенном людьми поле. Заросло свежей травой поле, покрылось цветами и сорняками, даже муравейниками. За деревьями было исполинское солнце, какое ранее я не встречал за всю бренную жизнь; красное, как мёд, и слезоточивое, как газ, — оно легло, и лучи так и побежали в разные стороны, куда глаза глядят. Соответственно, отбрасывались длинные густые тени. Я шёл по направлению к ним с ядовитой улыбкой.

Пели птицы, но пели так, словно только что созданные. Совсем не знаю, как это объяснить. Возможно, их трели раздавались на особой природной частоте. Или мой слух, весьма чуткий обычно, сегодня притупился, как наконечник стрелы.

Руку я не вынимал из кармана, и видно было, что она движется, скрытая тканью. Мало ли, что подумают люди? Но людей здесь дух простыл. Я вообще не уверен, что они существовали на земле в тот момент. Точно во сне — я и мир отдалены, и всего несколько людей, ничтожных в этом царстве, могут быть со мной.

Так что же я делал в кармане?

Ошибочно думать, что я искал что-то. Надобно бы вспомнить детство Кришны и вселенную в его рту. И действительно: в моём кармане копошилось обуздаемое маленькое антисущество, как я его назвал, попавшее сюда, под горячую руку, совсем случайно, как если бы крылатое насекомое забрело кому-то в ухо. На ощупь оно было не распознаваемое. По скудному моему воображению, маленькое, но лишь по нему; ибо реальные размеры этого антисущества выходят за все допустимые рамки.

Незванный гость

Он зашёл вовнутрь странной хижины, из которой лился свет.

— Кто здесь? — спросил он.

— Ну, я.

— И я.

Он достал нож. И снова:

— Кто?

— Я.

— И я!

Оборачивается, а никого нет. Голоса доносятся сзади, а то и спереди.

Не поймёшь.

— Да где же вы?!

Голоса:

— Здесь!

— И вот тут!

Человек:

— А! Где?! где?!

— Вот я! Во-от!

— И я — вот! Вот здесь!

Никого нет. Вокруг никого нет!

Он вспорол себе брюхо. Сначала показывается сало, потом красная икра льётся на пол, поблёскивая во свету. Потом кишечник. Кишка одна за другой выпадают оземь.

Будни

На круглом столике лежали лекарства, лишаящие меня какой-либо грусти. Я знаю, я читал: в моей голове повышается какой-то нейромедиатор, и меня донимает если не радость, то равнодушие. А известно, что равнодушие — страшный грех. За такой грех дьявол никого не простит. Мне достаточно смотреть на себя в зеркало: худая гладь поглощает ебало. Червивый карман... Сотни тысяч потаённых обид, на подбор, бери — не возьму. Как в магазине, белые зубчики, выглядывающие, как клавишин. Или что-то подобное... В окне пурга, хоть и лето. Ну вижу я её, и что тут? Сыплю сахар без ложки в кружку. Забываю залить кипятком и окунуть в него травинку, зовущихся чаем. Что, вы подумаете, что я болен? — из-за того, что я не знаю, как зовётся эта трава? Я знаю. Я не брежу даже тем, что притворно игнорирую свои знания. Я ведь не глуп. Я знаю, что такое чай, как называется трава, зовущаяся чаем, и так далее. На шторе мутный глаз. Какой-то мальчишка ковырял свой нос и случайно выковырял глаз, намазал его соплёю... Было такое? Что там вообще произошло? Вспоминаю чёрную мошку, лазающую по стенам и потолке. Покажите мне лицо того гнилого трупа, который так уверенно прячется во мне. Я набью ему харю. Гнилым не будет — избитым!

Вот такие у меня будни! Голова болит... А это я не пил таблетки. Давно не пил. Когда пью — тоже не помогает. Бесполезные лекарства. Попрошу лишь записать мою фамилию, так, на дальнейшее.

Белая газета

Действующие лица:

Продавец газет.

Человек, читающий газеты.

Дождь сыпется по козырьку газетного прилавка. Люди как собаки запахнулись в дождевики и ходят то домой, то с дому...

Продавец (ласково). Покупайте, пожалуйста. Завезли новые газеты. Хорошие газеты, скажу вам.

Человек. Конечно, давайте мне одну. *(Протягивает монету.)* Вон ту, белую.

Продавец (неуверенно и испуганно). Белую газету? Это... Я очень редко продаю эти газеты. Я не могу даже отрекомендовать...

Человек (вежливо перебивая). Позвольте. Я куплю её.

Продавец кивает и даёт человеку, читающему газеты, свежую белую, завёрнутую в красную ленточку. Человек садится на лавочку и принимается читать газету.

Продавец. Читаете? Хочу узнать... Про что же там пишут?

Человек медленно поднимает палец, прося продавца умолкнуть. Пауза.

Продавец (сам себе шёпотом). Прекраснее нет на свете добра; чем нюхать цветы со двора; чем травы жевать, солони ли, слащавы; мне ведать лишь бы их вкус... *(Открывает окошко прилавка. Дует сильный ветер.)* Чёрный ветер ревёт... *(Закрывает окошко. В бессилии и скуке садится на стул, подперев голову сухим кулачком.)* Четыре... безоружные солдата... А перед ними... океан...

Человек, читающий газету, резко встаёт, свирепо глядя перед собой. Он бросает газету на стул и направляется уверенно в сторону мостовой.

Продавец (крича). Что же вы делаете! Помилуйте! Что же вы делаете!.. Оставьте, оставьте!..

Человек (не оборачиваясь). Узнал я, что хотел! Спасибо!

Продавец в нерешимости смотрит вслед уходящему человеку. Когда человек ступает на мост, продавец выдыхает и закрывает окошко. Поднимается ветер. Дождь перерастает в ливень. Туман скрывает человека.

Продавец (перечитывая вслух написанное письмо). Павел Вдовов, прошу вас, сожгите этот завоз белых газет. Сожгите немедленно.

Продавец не слышит громкий хлопок чего-то тяжёлого о воду вдалеке. Занавеса нет.

Молитва кукурузы

У задушенного кота спросили, за что его задушили поздней ночью, апрельскою флюорографией, во времена какой-то далёкой снежной революции.

Кот был напуган:

— Мяу-мяу-мяу, — утверждал кот, — мяу-мяу-мяу.

Журналисты позвали докторов. Доктора приехали поздней ночью, апрельскою флюорографией, во времена какой-то далёкой снежной революции. Перевязали. Засунули на голову какой-то обломок от базарного рупора.

Кот попросил сурдопереводчика. Придя, сурдопереводчик с белой огайской шляпой улыбнулся коту и кивнул.

В общем, вот что стало известно: всё началось поздней ночью, когда хозяйка насыпала в миску немного кошачьего корма. Кот пошёл его лакать. Ужин происходил долго, признаться честно, очень даже долго. Вкусный был корм и спешить было некуда. Хозяйка же отлучилась в свою комнату оплакивать мёртвого племянника. Примерно в то же время, когда хозяйка уснула под свечами, а кот окончил приём пищи и приготовился покидать кухню, у него заболела грудь. Заболела сильно, — отмечал сурдопереводчик каким-то загадочным жестом. Кот распереживался и пошёл к хозяйке в каморку. Та спала. Кот запрыгнул к ней на постель и потёрся хвостом о мокрые щёки. Хозяйка проснулась, и кот обсудил с ней всю ситуацию и природу болезненности в груди. Кот, — вновь отмечал сурдопереводчик, — не понимал некоторой скованности реакции хозяйки. Она меня понимает, — говорит, — разговаривает со мной даже. Не понимаю, — говорит, — что произошло в ту ночь, но она, — говорит, — была ко мне настроена как-то наискось, как-то, — говорит, — нейтрально. В общем, кот закатил истомную истерику и заставил хозяйку собрать больничный чемоданчик: поехали на флюорографию. Кота ласково приняли повивальные бабки, какого-то, — говорит кот, — хрена, и засунули его в клетку. Кот удивился: «Я, — говорит, — чуть не умер». Да, и было там из-за чего умирать, было! Провёл в клетке кот больше ночи. На дворе стоял апрель, было прохладно, поэтому кот особо не завывал и не мяукал, словно нимфоманией поражённый, ночь напролёт. Но, — говорит, — иногда, конечно, позволял себе подобные выходки. Наутро кота достали и повели в дальний, самый тёмный и страшный отдел части ветеринарии — в отдел хирургический. Кот округлил глаза и задумался: пришло на ум, что именно там котов лишают тестикул. Какое печальное известие, — говорит, — какое печальное! Кот тут же задрогался и побежал прочь по освещённому коридору. Словили. В клетку. Хозяйку, едва не терявшую сознание, отправили на второй этаж, к регистраторше, получать таблетки от сердца, головы, давления и вагиноза. Последнее,

— говорит, — я вовсе не понял. Какого это, — говорит, — такого вагиноза-то? Ну, забыли. Кота сковали и привязали к белой кушеточке. Убежать было нельзя. Царапай — не царапай!

Сурдопереводчик заикнулся, чего-то испугался, шляпу свою снял и как бы траурно положил её на колени:

— Прошу меня простить. Я не могу более... продолжать перевод. Простите... Ах, простите.

Тот, кто спросил кота в начале рассказа, нахмурился:

— Как это так? извините?

Кот лежал на больничной кровати, распухший и слегка вспотевший, с мокрой шёрсткой. Он не слушал; мордочка его была отворена, усы торчали во все стороны, как у какого-то мушкетёра, а рот был как-то открыт, но очень по-глупому.

«По-глупому. Да», — отмечали все вокруг.

— Только вообразите, доктор, — плакала хозяйка, рассеяно перебирая в руках стрекочущие таблетки, — с этим котейкой я всю жизнь. Только вообразите! Всю жизнь!

Доктора успокаивали хозяйку. Пытались...

— А! О, господи-и!.. А-а!.. — разрывалась она.

Тут в палату забежали хлопотливые фельдшера, медсёстры и прочие сливки. Бумаги посыпались на пол.

— Доставай!

— Куда же? Куда подписывать?

— В 12-й!

— Что?

Кот протяжно мяукнул и зашевелился.

— ...В № 12!!

Кота запеленали в плотное защитное полотенце, так как он начал шипеть, точно змея, и кидаться на всех своими нестриженными когтями. Повели в рентгеновское отделение.

Сурдопереводчик с ужасом спохватился, схватил шляпу и нахлобучил её на мокрую голову. Побежал в кабинет. Хозяйке махали три доктора — та распласталась.

Потом по радио, стоящему на глянцевого столе, громогласно и безнадёжно прозвучали внятные слова мужским голосом: «Внимание. Говорит... кукуруза». Потом последовало молчание. Голос продолжил: «...Кукуруза. Страшное известие накрыло нашу столицу... Революция. На далёких снежных... странах».

— Какая такая революция? Неужели — будем?

— Будьмо, братцы!

Сурдопереводчик вернулся в кабинет вместе с котом на руках и принялся торопливо-торопливо постигать.

В шок всех повергли следующие подробности: снежная революция, о которой толковали по радио, удивительным образом разгорелась прямо во время выборов Папы. Удивительно, — говорит, — как всё повернулось. Обеспокоенные люди увидели чёрный дым. Всей толпой

грустно зажурились. Однако потом в трубе вспыхнул не дым — пламя! Красное, как задница черта, как солнце! Яркое, пыльное и толстое. Спустя несколько минут подъехали пожарные установки... — а! — пожарные машины. (Сурдопереводчика исправил насупившийся кот.) Потушили разгоревшийся огонь. Зашли вовнутрь, а там — трупы трупами укрыты! Страшная вонь горелого мяса! Панический хохот. Крамольная, — говорит, — невинность... Спросили тут же: что произошло? Ответили журналисты: в католическую церковь ворвались вандалы, избили всех служителей, забрали иконостас. Произвели полное мародёрство. Нелегально продали реликвии. В городе поднялся ураган массовых беспорядков и разлилась волна протестов. Все друг другу хотели перегрызть глотки. Стал человек человеку — волк.

И это всё продлилось, — говорит, — три дня, пока город не оцепили государственные силовики и не загнали протестующих в угол. Пострадало больше тысячи людей и зданий. Зажглись кукурузные поля.

Сурдопереводчик, переводя дух, попил воды и продолжил:

Затем, — говорит, — начались поиски зачинщиков. Обещали самую суровую меру наказания — казнь молитвой кукурузы.

Все вопросительно перебили сурдопереводчика:

— Что?

Это, — говорит, — казнь, в ходе которой умирающий принимает свою смерть от того, что молится на кукурузу. Нововведение из США, — говорит. Страшное дело. Но возникает проблема: все кукурузные поля сгорели. Зима тогда была тёплая, посадили много урожая. Вот и всё — облом!

— Так что же, что же произошло с котом?! — закричала хозяйка и тут же упала в обморок.

Сурдопереводчик тяжело вдохнул и так же тяжело выдохнул:

— Он, люди, был подвержен страшной казни, неудавшейся, правда, по итогу... Никто, — обратился он к вопрошающему, — кота не душил. Вот как. Он сам пытался удушиться, по своему желанию.

Кот сделал согласительный жест мордой.

Прошло уже достаточно времени: всё образовилось. У кота ничего не обнаружили в лёгких, хозяйка осталась такой же хорошенькой, сурдопереводчика уволили к сидоровой козе вон.

Так что же произошло тогда, поздней ночью, апрельскою флюорографией, во времена какой-то далёкой снежной революции? — самоубийство.

Сурдопереводчика изгнали из города по настоятельному совету кота. Хозяйка устроила страшный скандал. Все инстанции были изнурены постоянными звонками и прочим безумием.

Поздней ночью из католической церкви исчез кот. Апрельскою флюорографией он устроил больничный переполох. Снежная революция? Что вообще происходит? Где связь?

Прежний кот помолился кукурузе, казнив себя, а сбежавший из церкви подменил его.

Сурдопереводчик пытался связаться с хозяйкой, и его голос был дрожащим. Но хозяйка вновь послушала совет кота — сбросить трубку.

Красное лето

В то лето людишки уходили с ума.

I

Невыносимо радостно было на душе у неё, ибо началось лето.

Она произносила это слово – лето – отдавая себе отчёт о схожести с именем Лолита, которое так умело и образно передано в одноимённом романе; она любила читать. Даже больше: она читала, чтобы любить, — когда открывала книгу, в её груди шустро расплзался рой жучков, засевших в тёмном углу и нешевелившихся с момента отключения света. В книгах она находила приятное и полезное, всё её существо состояло, казалось, из абзаца и форзаца.

Все называли эту странную девушку Бегемотой. Ошибочно будет предположить, что из-за пышности форм или овала лица, так как прозвище уходит корнями в глубокие времена, когда её самой на планете не существовало. (Выходит, несомненно, странный парадокс.) Бегемота никогда не чувствовала возмущения по этому поводу, ей было плевать. Почему бы и не плевать, когда меж снисходительными репликами проскальзывает милое звучное «Мота». Если человек, к несчастью своему, видел Бегемоту на улице, то непременно должен был заметить постоянную ядовитую насмешку чуть ниже носа, у губ. Подмышкой Бегемоты всегда прижата книжонка, чёрная, в твёрдом переплёте.

Не стоит думать, что о Бегемоте пойдёт повествование в следующие несколько страниц; оно совсем не про людей и не ставит перед собой цели раскрыть того или иного человека — это, в первую очередь, страшная летопись впечатлений, которые я застал здесь, в этом отдалённом от человечества лагере. Для удобства изложение будет воспроизведено от лица незаинтересованного, чужого, непредвзятого — меня.

Я прибыл в лагерь вместе со всеми девятнадцатого июня, на велосипеде, когда солнце ещё не ложилось, но темнело. Я знал Бегемоту с детства, посему и описал её изначально, используя некоторые факты для плавного введения.

Меня зовут... Прошу извинить. — Звали, меня звали Стив. Теперь никто меня так не зовёт. Вот за что я извиняюсь.

II

Бегемота поставила у большой каменной стены свой велосипед, достала из багажника книгу и пакет с бутербродами. На всех она смотрела плотоядно, жадно, словно говоря о том, что никто не получит и

кусочка её еды. Она ушла не дожидаясь всех. Остальные ребята так же припарковали велосипеды и прошли по этой обетованной площади, которая вела только к небольшому парку с домами. На стене, где стоял велосипед Бегемоты, висела табличка:

Лагерь с условиями для душевного благополучия.

Кто-то дразнил:

— Поздравляю с новосельем, дурьё! Вы все — душевники.

— Какие душевники? — с неприязнью спросила кореянка Ша Лунё; не держащая осанку, с грязными каштановыми волосами и лицом, напоминающим шурящегося стервятника.

— Душевнобольные.

Ша Лунё засмеялась, хрипя горлом и выкашливая будто что-то из потаённой глубины тела, плоти, её желудочно-кишечного тракта. Пожалуй, так. Я помню, как оно всё началось: *так* оно началось.

И все ребята исчезли уже через полчаса с закатом, забились, как мыши, в свои домики, соседствующие друг между другом на маленьком расстоянии. Довелось в этот день вновь видеть Бегемоту, её лукавство, её ногти, её герпес. Совсем стемнело. Бегемота наклонилась, выгнулась, положив руки, точно собака, на круглый чайный столик.

— Ба! — сказала она сперва серьёзно, а затем конвульсивно, шёпотом, рассмеявшись: — Ты такой бледный! Хорошо, что ты поехал. Ты хоть понимаешь, что нас ждёт впереди? *Какой ужас?*

Далее что-то произошло. Кажется, это Бегемота выходила на улицу в туалет.

— ...И сколько нас? Боже, какого чёрта! Я не могу выносить рядом с собой столько придурков!

Но Стив даже не отвечал ей.

— Пятеро, не считая нас? — продолжала она, — верно?

— Четверо.

Глаза Моты округлились.

— Чёрт! чёрт! — бесилась она. — Шесть человек в маленьком лагере! И мы должны уживаться? мы обязаны?

Она уселась на свою тёплую постель второго яруса кровати.

— Я буду вам улыбаться... — продолжала она. — Я буду улыбаться кишкам своим, накручивающимся на ваших мечтах...

Стив залез к ней, но Бегемота спряталась за книгой.

— Не бойся, — грустно успокаивал он.

Но Бегемоте так понравилось накручивать себя, что она улыбнулась ему ещё шире, но уже добрее, и сказала неуловимым кокетливым шёпотом:

— Тихо, тихо... Никто не услышал.

Было, точно могу сказать, ещё несколько подобных ситуаций, скорее странных и пугающих, чем нелепых. Не вижу смысла останавливаться на таких пустяках; продолжаю документацию, так выражаясь, на фрагменте между поздней ночью девятнадцатого числа и поздним утром, возможно даже в начале дня, двадцатого. И почин был прекомичный. Утренним туалетом весь лагерь встретился на улице. В траве, лениво ползающих, обнаружили стайку белых диких зайцев.

Кто-то поджёг сухой тростник и рассмеялся во весь голос:

— Здра-авствуй, лето красное!

Стив испугался, и в глазах потемнело. Он отошёл назад как бы в слепоте, закрыв лицо руками, а когда обернулся на зайцев, то увидел тех в горящей траве. Это, по-видимому, огонь решил перекинуться на них. Больше всех была удивлена Ша Лунё, визгливо вскрикивавшая каждый раз, когда обожжённый каким-то огоньком заяц пищал от боли.

— Господи, да что вы стоите? Куда вы смотрите?.. Ай! — вырвалось у неё, когда раздался писк. — Может, потушить? Потушить, да?

Был обед. Многие ещё заспанны и мяты, поэтому не прилагали особых усилий. Стив перепугался, как маленькая девка. Он в порыве яростного исступления прыгнул на траву и стал затапывать как безумный тот огонь, весело и опасно вспыхивавший под ним. Итог не трудно предугадать. Все видели и у всех это отпечаталось в памяти, как детский кошмар, все видели Стива, прыгающего по зайцам, по их склизким и квакающим пузырьками телам, разбрызгивая кровь и трубчатые кишочки.

Ша Лунё сложило в два счёта, она судорожно завопила, как при родах, взявшись за живот и будто желая промять рёбра вовнутрь. Глаза её очертились жёстким чёрными контуром, подрагивающим, воспалёнными, красным. Из шока всех выдернул её протяжный тромбонный смех. Лицо Ша Лунё не поменялось, как и поза, просто она смеялась.

Ужас покрыл все члены Стива. Он тоже хохотнул, так, импульсивно, как бы нехотя, но перед этим позволив губам искривиться в односторонней улыбке, позже переросшей в хохот.

Смех — о нём столько рассказывают, столько рассказывают!.. Это защитная реакция на поражение рассудка.

— Не ходи к липе, — сказала Бегемота, — там зайцы. Скоро я их похороню; мне так жаль!

Стив думал: «И что мешает мне ходить к липе? — то, что там трупы зайцев? О чём говорит Мота?» Он оборачивался к окну и смотрел на лагерь. Форточка была открыта.

— Мота, — начал он сбивчивым задыхающимся голосом, — давай поговорим.

— О чём же? — с улыбкой ответила она.

— О людях. О Ша Лунё; странная баба, не находишь?

Бегемота пожала плечами:

— Ну, да. Я заметила это ещё тогда, во время поездки: она держалась всегда на конце, лениво перебирая педальками.

— Вы ведёте себя не так, как... Понимаешь, Мота? — вы словно все нездоровы. Мне так страшно порой наблюдать за вами, за тобой.

Бегемота долго молчала, а затем снова улыбалась. Мне казалось, что на её губах поселилась маленькая, тонкая змейка, только вылупившаяся, она пристала к её рту, всосалась в него.

— Я не понимаю тебя. Ты бредишь, Стив.

— Нет, не брежу! Лето на дворе, а вы ходите с ума!

Она резко встала и пронзила его холодным взглядом. Через несколько секунд в домике погас свет. Бегемота отвернулась к стене.

— Ты спать? — спросил Стив огорчённо.

— Отстань.

После этого разговора мне стало не по себе. Конечно, ничего толком не произошло, но что-то внутри меня сошло с рельс. Я навсегда откинул любые попытки говорить об этом, намекать и узнавать, что они все думают. Мне было, признаться, ужасно одиноко, так как я единственно себя ощущал здесь здоровым, неподвластным к глупым и притворным поступкам.

Завтра суббота. Бородатый цыган по имени Иаков обещал сделать шашлыки.

С утра лагерь проснулся от громкого воронья. Все вышли: Бегемота, не успевшая одеться; Стив за ней; вышла Ша Лунё, клочок волос торчал вверх, она с отвращением наблюдала за худыми, извергающими кал птицами; Иаков, с бесчеловечной улыбкой, с шампуром в руке, со своей щетинистой голой грудью; выбежал, крихтя, молодой слесарь; его так звали все вокруг; и ещё один менее важный человек. Все уставились на небо: вороны не то чтобы кружили, а скорее танцевали, расправляя крылья навстречу друг другу, торопливо летающим в каком-то калейдоскопе, по одному и тому же маршруту, и каждая ворона заикливалась собою танец.

— Что с ними? — ухмыльнулась Бегемота и подняла с земли камень.

— Я думаю, сезон спаривания, — брезгливо ответила Ша Лунё, посмотрев на Бегемоту. — Трахаться хотят.

Тем временем камешек потерпел промах. Бегемота наклонилась за ещё одним.

— Зависть берёт, — странно сказал цыган.

— Зависть? — удивился Стив. — Какая зависть?.. Эй, каждый берите по камню и кидайте к верхушкам деревьев, старайтесь попадать в стволы. Испугавшись удара, вороны с деревьев встрепенутся.

Все взяли по камню. Стив, ощутив себя лидером, кивнул. Но в тот же

момент, когда он смотрел на вороньё в ожидании камнепада, что-то тяжёлое с жгучей болью опустилось в его живот: это был камень Ша Лунё. Подняв голову, Стив увидел улыбку отвращения на её лице.

«О господи, — прозвучало в нём, — о господи. Они думают, что вороньё — это я?» Поражённый Стив посмотрел в глаза остальным, ища какую-то надежду. Затем уже не жгучая, а дробящая боль вонзилась ему в щеку; затем рука вскрикнула стёртым кусочком плоти; затем всё тело. Его все закидали, как жалкого еретика.

Когда окончился залп, все дружно рассмеялись, как после анекдота на ночёвке. Кровь же струилась из свежих ран Стива, он хватал их, зализывал, сжимал. В ужасе вздёрнув голову, он побежал в свой домик. Снаружи смеялись. И я не понимал: за что? Иаков вытер жирный шампур о выющиеся свои волосы на груди. Бегемота флиртовала с ним. Ей было плевать, что столько больных глаз смотрят на её задницу.

Зачем же они смеялись? Им было смешно, возможно, из-за боли, причинённой мне. Не мог поверить в то, что Бегемота сходит с ума. Она не заступилась за меня.

Я латал свой подбитый нос, стоя пред зеркалом. Мой лоб был израненный, в каких-то язвах. Иногда, поворачиваясь на окно, я видел картину того, что происходило с ними. Вот что я видел: серый дым вился из кустарного мангала, сделанного из кирпичей, рядом стоял Иаков и махал на огонь газетой. Остальные ребята шутили в небольшой компании.

А у меня не останавливалась кровь. Я видел также, как ребята ловили мышат, складывали их в праздничные пирамидки...

Я закрыл двери табуретом и лёг спать, ощущая знойное свёртывание и образование струпьев.

IV

Меня попустило, и я вновь могу продолжать повествование. Вспоминая события, произошедшие со мною в этом лагере, я удивляюсь сам себе: как же я не покончил с собой?

Стива тошнило, как рыбу и как голубя, весь день. Он вспоминал людей, и его тело начинало трястись от холода. Ну, удивительно! Но холод был реален и не мним, даже несмотря на сорокаградусную жару, постепенно накалявшуюся в середине июня. Так вот: все люди казались ему уродливыми; он не видел в них зрелого образа. Цыган Иаков для него точно из ада вернувшийся, редко мытый, всегда пахнущий потом, всегда улыбающийся золотыми, гнилыми зубами, никогда не бреющийся и тугой, высокий, толстый... Чёрт! он напоминал Стиву жирного кабана. Стив его ненавидел. Этот Цыган всегда думал об одном и том же, его взгляд был скверный: или пустой, или похотливый, скорее развратный, присущий насильнику своей кареглазой Рады.

(Не подумайте же, что я вношу в летопись информацию и тем самым раскрываю людей, нарушая своё же обещание, что не буду этим

грешить; раскрытие происходит совсем по-другому.)

От мысли о Ша Лунё у меня болел живот; мерзкая, грязная, грязная сучка! Ничего из себя не представляет. Мне довольно будет и того, что она умрёт как-то от своего невежества.

А что Бегемота? Я её простил. Нам ещё предстанет прекрасная возможность объединиться.

Что же касается слесаря: с ним у меня произошёл конфликт на бане.

Полностью нагая Ша Лунё тёрла до красноты своё тело, обёрнутая к бревенчатой стене. Слесарь смотрел на неё. Я в это время выдавливал на руку спермоподобный шампунь. Слесарь подмигнул мне своими европейскими глазами, пошевелил, будто жуя, худыми губами и заулыбался. Меня тут же переклинило.

Стив подошёл к нему вплотную и злобно процедил:

— Не вздумай прикасаться к ней!

Слесарь оторопел и погрубел:

— Иди на хрен! Кто ты? Ты кто для неё? Она первая бросила в тебя камень! Первая! первая! А-ха! первая!

Слесаря согнуло назад; он засмеялся.

Ша Лунё, слышав странный шёпот, развернулась. Она закрыла грудь ладонью, однако через пальцы просачивался твёрдый сосок.

— Освободите меня от себя, — сказала она.

Стив с размаху ударил слесаря по желвакам, что тот захрипел и подавился собственным кадыком.

Ша Лунё вскрикнула.

Стив выбежал, не забыв накинуть белый халат.

Я о том, что слесарь такой же безумец, как и все. Однако после этого конфликта лагерь смотрел на меня по-другому.

V

Действительно, баня напоминала Стиву избушку с мясными стенами (возможно из-за того, что лето было красным и в особенно пекущие дни отражалось в стёклах). Такие наблюдения показались ему вздорными и ненужными, однако сердечными. После инцидента со слесарем Стив не заходил в баню, не мылся там; по утрам, за домом, тот с рычанием опрокидывал на себя десять литров проточной прохладной воды. Зубы не чистил.

Особо застенчивые предварительно говорили всем, чтобы идут мыться. Ша Лунё, к примеру, было абсолютно плевать: никогда она никого не предупреждала, и любой желающий искупаться мог застать её нагишом, что и произошло со мною. Стоит отметить, что большую часть походов в баню я совершал вечером, поздним вечерком, даже под ночь, надеясь, что никто не решится ни с того ни с сего ополоснуться вместе

со мной в то же время. Ночью там до ужаса одиноко и синевато: вкусно пахнет мыльница, наполненная туалетным и хозяйственным мылом, шампуни, лосьоны. За окном тьма-тьмушая: ну ничего, словом, не видно. И сейчас, в общем-то, не об этом...

Стива мутило каждый раз, когда он переступал злосчастный порог. Прекрасность момента он видел, отмечал, но скованность мышц не мог пересилить. Вот он включает воду, из дыр сочится вода, жёлтый электрический свет где-то в углу мигает, а потом горит долго-долго, вселяя надежду о том, что это мигание более не повторится. Какие глупые мысли, думал он, населяют его голову; не много ли странностей вокруг и так?

Душа у него помирала. Не выносил он находиться в бане, и всё тут.

VI

Страшен был день двадцатого июня. Все в лагере стали как собаки, злые друг на друга, жестокие, неумолимые.

Они нашли в старой кладовке грузовые сани; у библиотеки рос болезненный холм. Все туда. Стив мучился от того, что его сердце сосал червь самолюбия, лаская мембранной камеры. Такое неприятное давление, жара... Точно сердце его тошнило.

Ша Лунё и Бегемота сели в сани первые, их толкнули, трава задымилась, разрываема полосьями, и застонала. Затем скатились следующие.

У Иакова была мёртвая мамка. Он постоянно упоминал об этом, скатываясь, пока вдруг не рассвирепел, не вспыхнул термитным огнём. Он сбил с холма бедную Ша Лунё, и та сначала покатила вниз, лицо её звучно клацнуло об какой-то сливовый пень; порвалась одежда, все её органы вместе с ней; выходявшая кровь тут же запекалась. Ша Лунё лежала у подножия холма, на обетованной площадке. Челюсть смотрела неестественно вниз, как у обезьяны; плечо левой руки раскроилось об сук: из бледного мяса шла малиновая кровь. Она хрипела и завывала, и это звучало не так, как завывает человек от боли: скорее смешно и наигранно.

Но все видели, что Ша Лунё разворотило и она гаснет.

Иаков сел на холм... задумался... напрягся... Так и летело время.

Ша Лунё не хоронили. Её выбросили в кусты. Паренёк, который, видимо, начинал выстраивать с ней отношения, был в ужасе:

— Вы испортили лето.

Паренька звали Хутар; арабские корни, но пакистанец. Никаким военным делом он не занимался. Это худая палка с мрачным наклоном, с печально кривой спиной, с болезнью лёгких, о которой никому и ничего...

Хутар нападал на Иакова, а тот пообещал, что убьёт его и будет при этом улыбаться. А ещё обесчестит, как кошку. Хутар ушёл к себе после этих слов. Стива рвало. Ему всё было мерзко, хотелось испустить вместе

с желчью и не переварившейся едой комок неприятных ощущений. Но он был глубже и, кажется, никакой орган не занимал.

Мне мерзко, мерзко, мерзко! Не хочу это писать. Всё это бешенство! Никто не прочитает это теперь после всех событий — некому!

VII

Стив настаивал похоронить Ша Лунё по-человечески, хотя бы для того, чтобы её разлагающееся тело не привлекало пасти пожирателей падали, а также, чтобы в домиках не завелись насекомые. За это выступили Хутар, Бегемота и Стив. Все остальные были против.

В начале июля Ша Лунё похоронили. Примерно в то же время Иакова нашли с перерезанным горлом у себя в постели. Сосед его, слесарь, в ночь убийства отсутствовал.

Наутро в лагере поднялась мрачная паника. Появился ночной караул с арматурами.

Я вообще старался не покидать домик, за исключением туалета и столовой. Большую часть времени я провёл взаперти с Бегемотой, которая начала панически чего-то бояться. Я утешал её, однако это не помогало, она истерила, рвала на себе волосы и проч. Это очень сильно действовало на мои нервы. И настал, наконец, тот момент сплочения, о котором писалось ранее. Бегемота напрочь отказывалась выходить без меня на улицу, брала меня в туалет, чтобы я дежурил, и на баню. Кажется, это продолжалось несколько дней...

Затем у Бегемоты и Стива возникла беседа:

— Я понимаю, что больна, — огорчённо прошептала Бегемота.

— Если ты понимаешь... это уже хорошо.

Бегемота улыбнулась, как чертовка. Все её зубы были жёлтые, даже губы. За окном горел костёр.

Стив обомлел и обнял Бегемоту.

— Разреши мне войти в тебя, — сказала Бегемота.

Стив не отвечал.

Бегемота вырвалась, словно отклеившись от прежней кожи. Глаза её бежали по кругу, как безумные колёса.

Стив забыл, что хотел сказать.

— Задумалась! Закашлялась!

Бегемота вспомнила: Стив был ей должен. Она разбежалась и разбила себе вдребезги лоб. Кровь тупой ланью зажурчала на полу, капля за каплей.

Тошнило как рыбу. Меня тошнило ещё долго, о, долго. Как же долго!

Она так и лежала в форме звезды. С тех пор в то лето я ни разу не плакал. Больше со мной ничего не случилось.

VIII

На рассвете кто-то в окно постучал. Тихо-тихо... Никто не

услышал... Никто не открыл...

Дом у вишнёвой проталины

I. Вишня

Трижды отрелась от своего имени. Забыла, не может припомнить больной-то головой, за неё взялась и качается, как лампочка, в стороны, что-то себе поговаривает, кого-то молит.

То ли это так враждебно содействовали ножи, то ли он её не понимал: да, он хотел поиздеваться над женским телом, получить ранее невиданные удовольствия и мысли. Его мечтой была: жертва, превосходящая по ужасу и безысходности своим убийцу. Но мечте, думал он, следовало бы искать иные инстанции.

Она лежала на полу, но хотела сидеть; была не связанная, не скреплённая ничем к слову буквальному.

Так чего же ты дрожишь?

— Чего? а? Чего ты дрожишь, Малена?

Она обрывисто, словно закаркав, закричала:

— А, нет! нет, не Малена! Не я — Малена! Пойми ж ты!

Она думает, что она не Малена. Он не помнил, с чего взял это имя и откуда оно пошло. Затем её красное личико ожесточилось мукой, осознанием беспомощности собственных волшебных слов.

Знатно наигравшись, он сорвал во дворе вишенку цвета спелой крови и дал её есть Малене. Она взяла и ела.

II. Радуга

После дождя обступили их тучи. Радуга затянула свои чресла тугим хулахупом; так и появилась она.

Он вынес Малену на улицу показать красоту, достойную глаза.

Малена, обезумевшая внезапной добротой убийцы, вдруг поцеловала его в губы, да попыталась страстно.

— Отпусти, — промямлила она, — а? Отпусти...

Он её отшвырнул, как старого крокодила, не годящегося в подмётки.

— Я тебе дам! — закричит, — я тебе покажу! Не воспринимай доброту за слабость!

А она в ответ срывающейся истерикой:

— Не принимай пустоту за весомость!

Он дал ей пощёчину. Один из них возбудился.

III. Муравей и чаша молока с мёдом

Муравей полз... Он его взял эдак за горбунок, и как заглотнул! Даже не прожевал.

Малена пила молоко с мёдом. Рядом топталась худая тёлка,

сбежавшая от соседей; холодно, видать, после проталины-то.

Так и они зажили. Любое хорошее действие начинается или с героического подвига, или с бессмысленно-вселенской ошибки.

Тут не взять за косматые лапище! — не понять, что за зверь и с чем его, собсна, есть.

Твой прекрасный день

Твой прекрасный день окончится, когда солнце, завершив работу, опустится за холмистую поляну. Для того, чтобы ты не грустил, оно окатит во все стороны оранжевый закат. Тебе, возможно, захочется спать, долго спать. Станет невероятно приятно на душе, а в ногах разольётся ощущение первобытной любви, то есть тяжело будет устоять на одном месте.

Люди шли с речки, полотенца оббивали их упругие тела. Маленькие девочки, лишённые родительской опеки, громко смеялись, громче всех. «Не трогай меня! Ха-ха!»

Вот какой прекрасный день. Мрачная нынче у нас тягота — сочинять о былых временах и выдумывать людей, которым места на земле нет, отождествлять их с любовью. Это что, искусство?

Не правда ли, что лучше похоронить тебя прямо сейчас, забрать из уютного вонючего дома, схватить, как мышь, за хвост, утащить далеко-далеко, в снежные холодные поля, где вырытая могила будет чёрной ямой на фоне белых боров. И ты заплачешь от ужаса, потому что будет очень страшно умирать. Страшно, ведь так? Не нужно надеяться на хорошее. Вернись к могиле, глотай снег, убегая. Начнётся метель. Занесёт туманом окрестности, станет зябко, алые щёки покроются инеем и станут ещё прекраснее.

Сухая сатира

Дорогие мои друзья, он просыпался утром, в дождь, и его брат спал. Он благодарил бога за то, что тот убил его и дал новый день. И льстил ему душою. В глазах его я видел ненависть и презрение к долгой жизни.

«Зачем я открыл веки? Мне бы не этим заниматься... а в Мексике, утопая в мокром песке, искать могилы давно ушедших сестёр Ерманы и Джорджии».

Епитимья родился в то же время, в какое возникли смерть, стоицизм и бананы. Долго он склонял головушку, выбритую под монастырские убеждения, у бескрайнего поля. На нём росли бананы, стоял стоик и гнил труп мелкого серого зайчонка.

— Я хочу умереть здесь, — сказал Епитимья, обращаясь к стоику.

— Тогда тебе нужно сделать что-то, — ответил стоик и вгрызся в банан.

— Что?

— Унаследовать землю, — засмеялся заяц.

Старый бар. Болеющий туберкулёзом скиталец пил дешёвое немецкое пиво и говаривал:

— Тяжела жизнь! О, тяжела! Довелось мне жить и скитаться! Теперь не имею доченьки и сына; матушка умерла, а батюшка отрёкся.

Маленькая девочка, подрабатывающая носильщицей, посмотрела на старика с невыразимой печалью.

— А ты запиваешься, — начала она, — запиваешься! Выйди же на свет безбожный, сколько девок кругом! Полно, старик.

Кто-то из глубины бара позвал девочку, и она быстро ушла.

Скиталец опомнился, выпил юшку пива и встал. Кинул на стол помятые потасканные монетки.

— Стой, девка! — окрикнул он и побежал, на бегу заправляя полы сюртука.

Но умер от отёка.

Приручённый демон

I

Сотню лет назад я приобрёл себе друга, когда проплывал по австралийскому морю на рабочем суде.

Судно заглохло у берегов Тасмании. Я с экипажем вышел посмотреть, что случилось, и увидел неподдающиеся ветру паруса (в это время наши одежды развевались, как стяги.) И помощник капитана, Мизуор Уосан, выступил с предложением ослабить верёвки; однако, когда согласившаяся команда начала взбираться, паруса вдруг запорхали бабочками и мощным хлёстким ударом сбили всех людей.

Мизуора Уосана выбросило в море; он остался жив. Остальной экипаж, состоявший из трёх мужчин и одной старой уборщицы, исчез. Я был в ужасе, не найдя их тел. С берега я наблюдал, как паруса беснуются, а после с протяжным скрипом рвутся на две части и укрывают своим одеялом судно.

II

Итак, Мизуор был со мной. Прошло четыре дня. С судна мы перетасили консервы и обосновались с ними в пещере. Моё долгое, вытянутое и худое лицо заросло червивой бородкой. Стали сказываться условия, в которые мы попали. Большую часть времени я блуждал по крытым пещерам, исследуя с удивлением обнаруженные наскальные изображения; если мне доводилось видеть какую-нибудь странную изогнутую руны, то сердце моё незамедлительно журчало. В темноте было крайне сложно, но тратить весь керосин было бы крайне нецелесообразно. (Ночью здесь чёрт ногу сломит.)

Для того, чтобы обуздать мрак, я использовал огниво и сухой прах из гнилого дупла. Мизуор не ходил со мной, ему было страшно. Каждый раз, когда я возвращался из глубин пещеры, на мне не было лица. Мизуор спрашивал, всё ли в порядке. Я отвечал, что да, а сам шёл прочь, обдумывая петроглифы. Я рассказывал ему, что здесь обитали некие социальные группы и их иерархическая система жрецов; здесь проводились жертвоприношения славному богу, который везде, на любом месте изображался шестиногим ползучим существом, с дикими кошачьими ушами и рогами на голове. Каждый его член, или щупальце, был непохож на другие. Его рот был разинут до краёв, а глаза напоминали зрачок рептилии, только горизонтальный и узкий. Я рассказывал ему о том, что рядом с этим существом стоял обезображенный костюмом жрец и подносил ему что-то на каменном блюде. Тварь всегда кричала, она была зла; впрочем, я не видел, чтобы эту тварь изображали убивающей или пожирающей кого-либо.

Мизуор мне верил, и страшился. Он поседел, ногти его крошились.

Вот что я видел ещё: странного бога петроглифы именовали как Ом, а на блюде ему дарили не что иное, как человеческую голову.

Мизуор сказал, чтобы я перестал.

III

С течением времени я всё чаще пропадал в пещерах. Выходя на свет, я искал необычной формы камни, чтобы потом сравнить их с увиденными внизу. Мне открывались шокирующие подробности древнеавстралийского племени гунтасвина. Например, из рисунков я составил традиционную внешность тех людей, которые выступали в роли проводника между богом и человеком: на голове они носили выпотрошенное тело вомбата, не искажая его самого. Морда была приплюснута к лапам, выглядела плоской и устрашающей. (Подобные наряды мне встречались в антропологических книгах ранее.) Далее, в их ушах — хотя трудно определить это наверно — торчали косточки рыбы; сверху, у раковины, косточки были короткими, но толстыми, а ближе к мочке становились длиннее и утончались. На скале я видел момент этого обряда, подписанный незнакомым мне языком, где некая высокая, в метра три по сравнению с обычным человеком, женщина (судя по типичной фигуре, груди и длинными волосам) вонзала косточки в уши какого-то юноши. Рядом, на блюде, лежала раскроённая рыба, с раскрытым брюхом и торчащими костями.

Я углублялся, а Мизуор Уосан перестал меня видеть вообще, а если видел, то с керосиновой лампой (ибо я перестал жалеть горючие запасы) и чернилами, которыми писались телеграммы.

Каждый высеченный рисунок втягивал меня в опасное болото. Я пропускал завтрак, обед и ужин, лишь бы только понять, что это за буква, там, на стене. Мне попадались маленькие ниши в скалах, в узких, когда-то засыпанных проходах, и я чётко видел комнаты. Несомненно, ручная шлифовка, но довольно положительный результат: они пригодны для жизни. Вспоминая обряд инициации, который я видел ранее, сделал вывод, что гунтасвина имела большую этническую рознь, и рост, средний для нас, им походил высоким.

Итак, я полагаю, что тем высоким существом, что вставляло кости в уши, была верховная правительница Укшунш-мировали-Укшун, выступавшая в племени как предводитель и организатор обрядов, мать жрецов, мутант страшного роста. Я видел её на трёх рисунках. Один, выполненный резьбой по камню, изображал: Укшунш-мировали-Укшун копает яму, из которой выглядывают толстые питоны. Рядом стоит жрец и держит за руку ребёнка. Второй рисунок, на потолке, был чем-то намазан. Я понял, что это уголь, когда смысл контур слюной. Укшунш-мировали-Укшун проводила инициацию на юноше. Полагаю, что это один и тот же петроглиф. Третий рисунок был до ужаса испорчен насекомыми, которые проделали на нём гнёзда: Укшунш-мировали-

Укшун отрезает половой член маленькому мальчику.

Возможно, предстанет вопрос, как мне удалось расшифровать и распознать рисунки, нанесённые на скалу тысячи лет назад? И я смогу честно ответить: сохранились они в таком хорошем виде только благодаря тому, что сюда доселе не ступала какая-либо нога. Чтобы попасть в ту часть пещеры, в которой находились я и петроглифы, нужно было иметь специальное оборудование; я достал его из судна.

Ведь нельзя предположить, что кто-то сумеет запретить мне заниматься такими походами; Мизуор Уосан мой помощник. Не трудно догадаться, кто является капитаном.

А на вопрос: «Как же мне удаётся читать древний язык?» — я отвечу громко: «Это поломанный латинский!» Не везде и не всегда, но в основном, — поэтому я смог вычитать некоторые надписи и прийти к таким заключениям...

Оказалось, что я вернулся поздним вечером. Мизуор сидел за костром и ел только что поджаренную рыбу, выплёвывая косточки. Он даже не удивился мне.

— Мизуор, всё в порядке? — спросил я и сел рядом.

Он сказал:

— Да.

— Я обнаружил поистине значимую находку. — Я указал на тетрадь, в которую записывал наблюдения. — Мизуор, когда мы выберемся отсюда, всё будет по-другому. Нас будет знать большая часть учёных и исследователей мира.

Но в ответ на моё возбуждение глаза Мизуора горели безумным зеркалом, отражающим огонь.

— А ты ищешь помощь?

— Ищу, — окончательно ответил я.

Он встал и с яростью бросил мясо рыбы в костёр.

— Да ты болен! Да ты, мать твою, болен! Какая помощь?

— Смотри: нас спасёт Ом, — и я рассмеялся, указывая на рисунок бога в своей тетради.

Мизуор понял мой юмор, но ничего не сказал.

В это же время я вспоминал последнее, перед тем, как вернуться, видение — круто уходящую вниз дыру, зияющую такой тьмой, что даже моя лампа не смогла осветить очертания стен. Я понимал, что это — финальный этап, к которому можно дойти; ибо на том месте изобиловали надписи, гласящие, что в дыре находится сам Ом.

IV

Кажется, шла половина второй недели нахождения на австралийском острове. Вместе с щетиной росли навыки выживания, росли шрамы и ногти. Не дошло до длинных волос, и хорошо; ибо мне они ужасны не

идут.

Утром Мизуор Уосан, спрятавшись за валуном, читал мою тетрадь. Я нашёл его только потому, что обнаружил пропажу. Завидев меня, он не попытался даже сделать вид невиновности. Вместо этого Мизуор поднял на меня некогда выразительный, но сейчас мутный, взгляд и сказал:

— Пора бы тебе кончать с этим. Я вижу, что у тебя неправильные мысли и цели. Ты в безумии, приятель. Опомнись...

Но только я понял его болтовню, сразу прервал и отобрал тетрадь: она была раскрыта на самом интересном месте. У меня перехватило дыхание, открылись жабры в груди, я часто задышал.

— Отстань, Мизуор! — закричал я. — Занимайся работой!

После этого Мизуор пропадал по вечерам, таким образом стараясь не встречаться со мной. Однако через пару дней, в жаркий саванный дождь, на берег, по которому слонялся Мизуор, выбросило тело. Он окликнул меня, и я прибежал. И увиденное, честно сказать, удивило меня до того, что Мизуор схватил моё падающее без сознания тело, всё мокрое и холодное от пота с дождём. Десятисекундный паралич отозвался в воспалённом мозгу сном: я бежал и меня кто-то звал, трогал за руки, поднимал и смеялся. Когда я очнулся, моя левая щека была в песке, а правая часть окроплялась мощным дождём. Песок подо мной превращался в мерзотную топь, и я тонул. Мизуор не перетащил меня в лагерь у пещеры. Повернув голову, я заприметил его, копающегося в трупе: это был лебедино-белый утопленник с обглоданными конечностями, пухлый, или, правильнее сказать, распухший. Когда я подошёл ближе, мне и вовсе почудилось, что прикосновения Мизуора к трупу создают волнообразные колебания, точно под кожей у него находилась жидкость.

Я потерпел обморок потому, что узнал в утопленнике юнгу Гобена Круоти, похожего на ящера.

Итак, Гобен, мой верный ученик и сирота, переехал из Новой Зеландии искать жизнь в мореходстве по наставлению матери, сорок лет занимавшейся врачеванием на военных судах. Малец работал не сомкнув веко, без укора; это был заядлый прагматик и яркий маринист. Его картины, в основном изображающие утро на корабле, до сих пор хранятся в кают-компании.

А сейчас я видел перед своим бледным лицом — его бледное, смертельное, даже смертоносное.

— Сбереги Господь от злой натуги, — прошептал Мизуор и поцеловал нательного бодхисаттву.

— Пираньи, — пугливо бросил я, ощупывая язвы пальцем. — Или гиены; вчера был ураган, помнишь?

— А затем отлив, да.

Мизуор с волнением и трепетом осматривал труп. Он что-то заподозрил, и мне это не понравилось. За такой короткий промежуток времени от Гобена ничего не осталось. Я даже не мог написать письмо его родным, извещающее их о его смерти. Не было у него никого.

Только мы, два заплутавших моралиста, хороним его тело и предаём душу упокоению.

(Признаюсь, что отсёк ему голову втайне от Мизуора, и мы похоронили его в закрытом мешке.)

V

Накануне третьей недели, когда Мизуор сходил с ума и камешками выкладывал сигнальное сообщение, я решился спуститься в дыру. В сетчатом пакете, предназначенном для улова рыбы, поместил голову Гобена. Если кто-то спросит, чем я её отсёк, я отвечу тихим шёпотом: «Зубами». После этого я громко засмеюсь, оставляя вопрошающего в тревожном недоумении.

...Пещера становилась уже, темнее, глубже. Я шёл, и мои зубы бесконтрольно стучали о верхнюю челюсть, я потел. Узкий проход фонарь выделил сразу, только свет прикоснулся к стенам. Ужасные наскальные изображения прошерстили в мозгу. Стук в висках. Засим я кинул в отверстие камень. Метр вниз. Однако тут же созрел вопрос: почему свет не может достать до стен? Я ступил одной ногой вовнутрь, пытаясь нащупать твердь. Ничего не добившись, я вынул ногу, прикрепил на носок лампу и вновь опустил. Таким образом, я понял всё.

Причиной тому, что я не видел в этой дыре ничего, кроме тьмы, послужили испещрённые кровью скалы, петроглифы, символы и остальное невообразимое. Каждый свободный кусочек, каждый чистый кусочек — всё это было в почерневшей, запёкшейся и состарившейся крови. Когтистая рука ужаса сжала моё сердце. Помещение, которое я увидел после спуска, было маленьким, не имело ровных контуров и форм. Выражаясь геометрическим языком, пещерка имела сферическую фигуру, не заострённую между потолком и полом; словно я находился в скорлупе яйца.

Я видел, что некоторые участки песчаника запятнаны куболитрами крови, извергнувшейся на них. Другие участки лишь слегка отставали своим средоточием. Большинство рисунков казались мне свежими из-за их безупречного качества, остальное перекрывали бурые кляксы. Я чётко дал себе понять, что это место — алтарь жертвоприношений. А пол подо мною был мягкий и скрипучий.

Глаза пробежались по стене и рот закричал:

— О-ом! О-ом!

На что в ответ пол двинулся.

— Ом! — завопил я радостно, — возьми мой дар!

И судорожными руками, даже конвульсивными, я вывернул сумку с Гобеновой головой; она упала мешком с дерьмом. Я слышал, как липкая кровь разбивается при ударе.

Меня подняло ввысь. Ом пробудился!

— Ом!.. Это я! Твой жрец!.. Славна гунтасвина! Славна Укшунш-мировали-Укшун! Когонь Икшар!.. Роз Ик-мори!.. Шанок!..

Капитан погиб с пеной у рта — от страха. Учащённое сердцебиение призвало к парезу и отрыву тромба.

Здесь будет описано, что увидел капитан. Его крики действительно пробудили существо, жившее там, свернувшись клубочком. Никто не тревожил его веками. Несмотря на то, что капитан именовал его богом, существо являлось несколько противоположным своему значению. Демоническая сила прорвалась на Землю через вечную мерзлоту и, следовательно, океанские чёрные глубины. Это всё навивает космический, лавкрафтовский ужас.

Тогда, во времена правления племени гунтасвина, утекло многое. Хотя бы — куда пропали все люди? Но это уже не считалось важным ни для кого. Мизуор Уосан ещё тринадцать дней будет выживать и ждать капитана, прежде чем умрёт от малярийной сыпи.

Ом, приручённый австралийцами, жертвоприношениями и кровью, таился в той маленькой, скалистой каморке и спал. Не чувствуя запахов, демон сумел уснуть на много лет. Но не стоит полагать, что такой хороший исход для человечества дался легко; ибо когда капитан падал замертво с остановившемся сердцем, а Ом пробуждал лапы, щупальца и члены, наострив кошачьи уши и разинув зубастый рот, — тогда оно отклеилось от пригретых тел под собою, а его анальное отверстие породило кучу запечённого человеческого мяса.

Споры фантастических дураков

Действующие лица:

Ядерщиков. Писатель-фантаст.

Курган. Фантаст-писатель.

Ярмоленко. Фантастический дурак.

Кабинет Ярмоленко. Консилиум литераторов «Фантаст-правды».

Ярмоленко. Как-то раз... А впрочем, что уж тут? Как-то раз и индюк в суп попал.

Курган (насмешливо). Какой индюк? Вы тут, пожалуй, с темы-то не сходите. Вот-с. Было же внятненько сказано: «Ба! Собирайтесь-с, милостивые государи». Собрались. *(Вздыхает и кладёт руки на стол.)* Честное слово, Александр Борисыч...

Ярмоленко. Что? Надобно вам что-то? Дык давайте!

Ядерщиков. Я начну. *(Поправляет душащий галстук.)* У меня, видите-ли, герой наклёвывается: знатный такой дедушка, Смолов, внучке своей случайно вместо кило картошки дал пакет с килограммом плутония...

Пауза.

Курган. Вы что? — сотрите, сотрите немедленно-с!

Ярмоленко. Кто это вас надоумил, милый вы наш? Какая, однако, пошлость! Килограмм плутония!

Ядерщиков. Послушайте, герой наклёвывается, мне нельзя терять этот прекрасный лейтмотив. Рассказать вам, пожалуй, внешность старичка?

Курган. Сотрите, говорю вам-с! Этого нельзя! Что подумают читатели, когда увидят в газете: «Знатный, как вы говорите, старичок, такой-то и такой-то, вручил внучке — внучке! Вы послушайте, что вы говорите! — вместо картофеля (который ей, впрочем, нужнее будет) килограмм... плутония! Это что ж за дедушка у вас получится? Старый дурак-с!

Ярмоленко (Кургану). А сейчас, верно отметить, проза ядрёна пошла! *(Смеётся.)* Но какие это конструкции! Какие сюжетные дыры! Поверьте, Ядерщиков, моему литераторскому опыту: ну не пишите. Что ж это будет?

Курган. Да-с! Конечно-с! Александр Борисыч, это вы верно говорите. Вот, например, моя идея: абсолютный фурор; группа московских торговцев впервые пытается овладеть межорбитальной торговлей. *(Жестикулирует.)* Ой, какой хорошенький у меня герой, видели бы вы замечочки-с! Молодой Степан Градусников совершает саботаж. Корабль летит на планету грозных вулканов и ледяных степей. Градусников-то знает, что там есть кому предложить товар. Прекрасная царская Москва-

с! Ядрёна вошь-с!

Ядерщиков (Кургану). Позвольте... Это что? подростковая литература? Государь Курганович, я не разделяю, во-первых, ваше мнение о том, что мой дедушка Смолов нуждается... в стирании, и во-вторых, по поводу вашего сюжета, — какой кошмар! Госиздат избобилует подобными очерками во всех библиотеках. Вы что, Александра Маринина? (*Что-то вспоминает.*) Да! и ваши книжонки-то, романы-то эти в мягком переплёте будут! В два аршина высотой и пол — в ширину!

Ярмоленко (строго). Не согласен, Ядерщиков, не согласен... Какое счастье! (*Обращается к Кургану.*) Какое счастье будет почитать вашу рукопись, чёрным по белому. Замечательная перипетия! Восторг!

Курган (не обращая внимания на Ярмоленко, Ядерщикову). Извольте-с! Язык ваш — враг ваш! Упаси от такого издателя. (*Смеётся.*) И какой же я вам Курганович? Не вздумайте так говорить! Люди не поймут! Да и что тут! Мы маленькие дети, что-ли, спорить-с? ...Подростковая? Вот это вы сказали? с вашим-то плутоном-с? С таким сюжетом, государь, вы можете шутку в одном действии поставить. Какой это будет залп смеха! Ставьте, Ядерщиков, ставьте в театре; ох и будет вам литературная премия.

Ядерщиков (воскликая). Сами напишите тридцать повестей в одной серии, потом поговорим! Иш ты!

Ядерщиков бьёт по столу и выходит из кабинета. Ярмоленко кашляет.

Ярмоленко. Фантастический дурак! Как это Цырюлькин соглашается его печатать?

Курган (зло). Вздор! Графоман графоману рознь! А вы что? Вы что тут-с, а? А? Дурак! Старый дурак-с! Чем вы тут заведуете? Вам бы на сельскую больницу поехать, Борисыч! С кем я работаю! (*Вскакивает.*)

Ярмоленко (поспешно и громко). Прошу повторить!

Курган. Молчать! Меня тут все объедают... Молчать! Дайте власть, дайте власть! Всех поувольняю к чёртовой бабушке! Развелось тут писателей! Какая вам фантастика? — вы лучше историю своей болезни документируйте, как Серёжа Поляков-с!.. И знаете что? Фантастический дурак вы, вот кто!

Курган покидает кабинет. Ярмоленко с удивлением закуривает трубку и перелистывает свою рукопись.

Ярмоленко. Гм!..

Занавес.

Живодёр

I

На него взглянули ничем не провинившиеся кошачьи глазёнки; он тоже умел смотреть долго и безответно. Котёнок рано или поздно сдавался, жалобно мурчал на его руках, слегка пригретый. Но каково оно было жестоко! — сердце. Живодёр посмотрел в разные стороны, надеясь увидеть нечто такое, что могло бы его проучить, однако улица была пуста, ибо только стало тепло, утро расцвело позднее.

Котёнок же никак не унимался. Он продолжал мяукать, пищать, поджимать уши, несколько мгновений испуганно глядеть по бокам, а после внезапно, с какой-то моралью, пристально наблюдать за мучающим его человеком, безобразным живодёром.

Живодёр стоял на своём. У него не возникало сомнений, что взгляд котёнка слишком уж требователен. А котёнок просто говорил ему не убивать его, не трогать, а пустить, по возможности, на землю, если не собирается приютить. Он так и умолял его: «Я слишком маленький, чтобы царапаться». Пожалуй, это звучало бы крайне отстранёно. Котёнок говорит прямо: «Позволь же мне выжить. Позволь себе не делать этого, ведь я получу только боль, и всё».

Может быть, животное хотело узнать что-то, нестерпимое живодёру, и всячески двигалось между безволосых пальцев. Оба знали о скоротечности времени. Нужно было что-то делать, кому-то требовалось начать первым. Но разве живодёр дал себе право быть сильным? О, нет.

Котёнок ничего не мог понять, и ему бы не сделалось обидно, если бы кто-нибудь назвал его елозящим комочком шерсти. Более ничего ему не было доступно. Котёнок даже не наделён способностью писать — как же ему объясниться и проститься с мамой-кошкой? Живодёр подобным излишествам не способствовал. И вообще, убивать животных, думал он, во много раз спокойнее, чем того же человека, ведь первое никогда не попросит перо и бумагу, никогда не заплачет о родных, о своей бесконечной любви, о, в конце концов, жизни, которой он так легковесно распоряжался до встречи с человеком злым и нелюбящим.

Действительно, делов-то. Впрочем, иногда приедается убийство немого существа: содрал с него в кожу, он красный, и видно какие-то зубы, глаза. Оно всё оголено, как медный провод. Возле искренних глаз собрались слёзы, и это какая-никакая реакция на боль. Но живодёру этого мало. Существо лежит и смотрит сквозь объекты, его мясо изредка, как сочный стейк, пускает юшку крови, однако совсем скоро застывает, уменьшается, стелется тонкой пищевой плёнкой. Становится понятно, насколько это страшно — быть животным с такой участью. Затем у живодёра что-то изменилось, сжалилось внутри, и котёнок был

отпущен. Он бросился наутёк зигзагами. Живодёр снял со спины ружьё и нацелился на убегающего. Прозвучал выстрел. Первый, правда, пришёлся совсем рядом с котёнком и не задел его. Второй выстрел попал прямо в цель. Котёнок, будто перецепившийся об камень, тихонько упал, поджав лапы. Сколько было того котёнка! Ничего не осталось и растеклась кровь.

Живодёр выдохнул и закашлял. Солнце заходило. После убийства на фоне заката поднялась пыль и кружилась. Живодёр был доволен собой. Ему нравилось свойство пороха — рвать. Он подошёл к трупiku котёнка, потом высоко поднял голову, точно обнажая шею для последующей смерти. Пахло тепло. Казалось, весь мир открыт для него и ружья, висящего на его спине. Даже этот котёнок, смакующий вытекающую из себя красную воду. Вставал вопрос: почему жить так легко?

Живодёр понял, что ему требуется спешить на самолёт. У него, знаете ли, появилась мечта — посетить Нечеловечный Остров; говорят, там сконцентрированы животные самых разнообразных видов. Попастъ туда можно через посадку самолётом в Бразилии.

Вылет завтра, через восемь часов.

II

Он уставился на пухлые дождевые облака, которые прорезало крыло самолёта. Пилот принял странный обет молчания, ничего не говорил всю дорогу. Многим хотелось услышать о том, что поводов для беспокойства нет, что непогода за иллюминаторами не помешает успешной посадке в пункте назначения, а также не нарушит комфорт, предоставляемый пассажирам хорошими условиями.

Живодёр сидел у окна. Внутри самолёта было темно: молчаливый пилот не включил лампы. Кроме того, не сновали стюардессы, не у кого было попросить пива и конфет, никто не одаривал друг друга улыбкой.

Нет, живодёру явственно казалось, что эти люди, ничем не отличающиеся от туч, скоро прольются долгими непрерывными потоками. А молчание так и останется стоять. Оно действовало бы на всех как успокоительное. Самолёт постепенно заполнится водой. Человек будет участвовать в этом процессе, видеть других. Вода поднимется выше шеи, потом выше глаз. Человек захлебнётся и выпустит последний кислород. В момент смерти, однако, ничего толкового не произойдёт — зрение человека отступит на второй план, созерцая. Именно так будет выглядеть смерть. Это можно сравнить, пожалуй, со смертью от осколочного взрыва; первая секунда, и человек стоит на месте; вторая, и происходит детонация; третья, и все осколки уже пронзили человека, и он может даже лежать. Если поражённые части тела позволяют человеку функционировать какое-то время, он увидит следующее: его силой придавливает к стене. Здесь же тело

начинается ересью и кровоточит. И вот они — десять секунд ужасной статичной жизни. Именно в таких ситуациях человек успевает понять, что произошло и что он скоро умрёт. Мысли человека при такой агонии, как правило, комичны и по-детски просты. Смерть наступает последующими видениями или сном, изображения которого резко тухнут, как экран телевизора.

Живодёр отмахнулся от мухи. Кто-то шептался.

— Подумать только, — сказал сосед живодёра, — страх. Он овладел всеми: моим братом, моей женой, моими сыновьями. Возможно ли это терпеть?

Живодёр думал, что отвечать не нужно, так как его сосед, похожий на Эркюля Пуаро, обязательно продолжит.

— Что же я вам скажу? Бог терпел и нам велел.

Сосед захохотал:

— Конечно, непременно! Я иезуит. А вы, случаем, не иезуит?

— Нет, — ответил живодёр спокойно. — Я, знаете ли, гностик. Вы знаете, что это такое?

— Знаю, — буркнул сосед. — Есть анекдот: прораб спрашивает у трёх служителей, христианины ли они. Первый, православный, отвечает «да». Второй, баптист, несколько секунд мнётся, но всё же отвечает «да». Третий долго молчит. Прораб спрашивает у него: «Чего ты, богомол, не отвечаешь?» Третий говорит: «Похоже, братец, никакой я не христианин». Прораб: «А кто же тогда?» Третий говорит: «Гностик; только что я увидел это. Все вы немножко Амур, но вы не виноваты в своей близорукости». Прораб задумался, потом махнул рукой и гаркнул: «Бог с вами! Просто стойте возле работяг...»

Сосед, окончив анекдот, смотрел на живодёра.

— Что же, это настоящий «Сатирикон», — сказал живодёр.

Сосед обрадовался:

— Сладкая лесть!

Живодёр посмотрел в окно.

Былой ведь туч напугал его своей однозначностью, и он отвернулся. В самолёте запахло шоколадом. Затем, через время, до него донеслось шуршание какой-то обёртки. Взглянув на соседа, живодёр увидел его, распаковывающего маленькие круглые конфеты.

— Дайте мне, — попросил живодёр.

Короткая рука протянула ему конфет. Рот соседа уже вовсю жевал шоколад и был набит, словно у хомяка.

— Это обычные конфеты? — спросил живодёр.

— Весьма. Не волшебные.

Живодёр положил в рот несколько штук. Обёртки запихнул в карман. Шоколад лип к зубам, смешивался со слюной и таял на языке. Вскоре ему захотелось пить, и он спросился у соседа. Когда по горлу побежала свежая прохладная вода, он понял, что запивать ею шоколад — одно из высших наслаждений.

Со временем пересохла губы. Самолёт, достигнув солнечного неба, стал нагреваться. Многие крытые пассажиры снимали головной убор и гоняли воздух. Живодёр знал, что это совсем не выход из положения, так как достаточно перестать махать, и жар окутает тебя с новой удушающей силой. Захочется пить или открыть окно, что, впрочем, не совсем возможно.

Живодёр по-иному справлялся с жарой. Он представлял, что лежит абсолютно голый в ледяной ванне. Каждый раз, в полусне двигая пальцами, он чувствует кубик льда.

— Куда вы держите путь? — нарушил молчание живодёр.

Сосед кратко посмотрел ему в глаза и вытянул из кармана старый американский билет 60-х годов. Он приблизил билет к живодёру и указал на маленький шрифт в углу: «Деригилимо».

— Что это?

— Я, как и моя мать, поклонник многих рок-групп тогдашних годов. Психоделических рок-групп. У меня дома огромное количество пластинок.

— Никогда бы не сказал, что человек ваших взглядов будет такое слушать.

— Моя мать похоронена в Деригилимо. Страшное произошло с ней! Я не буду вам говорить...

— Конечно, не стоит. Я сам круглый сирота.

— Я ведь имею право молчать о том, о чём хочу?

— Вы ходите под Богом.

— Вот что я хотел сказать... У человека есть право на всё, идущее от Бога. Правду говорю вам. Не всё, что им не задумано, так плохо. Единственное, человеку непозволительно и греховно, ужасно греховно убивать.

Живодёр не поменялся в лице.

— Нет, не мне судить душу убийцы, — продолжал сосед. — Однако мне, как бы вам сказать, наставлять, наставлять! Всю жизнь я посвятил этому наставлению на добро. На добро, понимаете? Это слово уже многим непонятно. Какой у него смысл? Я вам точно скажу, что нет страшнее греха, чем равнодушие. Нет. И слава Богу, что всё *так*.

Живодёр кивал на все речи своего соседа, и вид у него был, прямо сказать, сдержанный.

— Мне это неинтересно, — высказал он, — но вы говорите верно. Вы мудрый человек.

Спустя минуту-другую, съев ещё одну конфету, сосед начал кашлять. Только тогда, как у соседа побагровело лицо и он стал похож на рака, живодёр понял, что это приступ. Сосед всеми силами, через кашель и хрип, старался донести о астме. Живодёр же не понимал, как ему поступить, и остался сидеть на месте.

Соседа окутала страшная боль. Он больше не мог вдохнуть, из его рта брызгали мокрота и кровь маленькими точечками на сиденье, на пол,

на одежду. Кровеносные сосуды на глазах надулись, словно от бессонницы. Живодёр успел встревожиться. Сосед дышал так, будто бы в его горло поместили сито: свист, храп, влажное потрескивание, точно костра, и проч.

Это длилось несколько минут. Живодёр задумался: «Если сейчас я не помогу этому иезуиту, проигнорирую его приступ, тем самым дав ему умереть, не стану ли я грешником страшнейшего греха? Насколько позволительно убить служителя? Но я ничего не чувствую. Я не получаю того удовольствия, которое, скажем, получаю от убийства маленькой кошки. А казалось бы — человек! Он больше, мясистей и кровью наполнен гораздо в большей степени. Но разве убиваю я из-за размеров, мяса и крови? Мне требуется во сто крат.

Никакого дела, выходит, до этого иезуита у меня нет. Мне ничего не мешает убить его или спасти».

Живодёр, смотрящий тупыми глазами чуть в сторону, резко перекинул взгляд на соседа, словно секундная стрелка часов. Сосед был мёртв. Он упал головой вниз и вскинул руки. Живодёру показалось, что он молится своему богу после приступа, однако тот не шевелился и бледнел так, как не бледнеет живой молящийся христианин.

Живодёр привстал и осмотрел пассажиров. Такое чувство, будто бы ничего не произошло. Он сел на место. Ему никогда ещё не приходилось делить с трупом столь близкое расстояние. Вскоре он увидел приближающуюся к нему женщину. Она остановилась подле иезуита, посмотрела на него и скинула труп.

Живодёр удивился.

— Здравствуйте, — сказал он.

Женщина была в летах. Выцветшие жёлтые волосы кудрями жевались в пучки и чумные бубоны. Стало ясно, что женщина многие годы провела на знойных полях с серпом в руке и там, возможно, рожала. Был у неё вылепленный тонкий нос, редкие строгие брови, как будто у какой-нибудь злой вдовы, напomaженные губы. Всё, словом, выделяло её из толпы сидящих пассажиров. Её лицо не покидала добродушная скованная улыбка, словно хочет попросить что-то, а не может или ждёт удобного случая. Руки, которые она нетерпеливо теребила на платье, истекали мокрыми мозолями, сухими рубцами, шероховатостями.

Она смущённо усмехнулась, кивнув на труп позади себя.

— Это мой муж.

Живодёр выждал паузу.

— Это прискорбно, — сказал он. — Я сожалею вам.

— Зачем же? — спросила женщина. — Не стоит. Хорошеньким он был, мой муж.

Живодёр любезно улыбнулся и положил руку на её хрупкое плечо. Кожа до ужаса холодна, но он не отпрянул.

— Вы не бойтесь. Сейчас мы позовём персонал. Он поможет вам.

Как это внезапно происходит... Извините, почему же вы находились поодаль от своего мужа?

Женщина, в это время утиравшая сухие щёки, приложила платок к груди.

— Ох, я бедная, бедная вдова!

Кожа её плеча становилась до того холодной, что пекла. Живоёр убрал руку и вежливо покивал головой. Вот сейчас, пожалуй, странность происходящего по-особенному показалась перед ним. Когда он повернул голову к окну, то увидел столпотворение дыма и огня возле крыла самолёта. Послышались шорох и скрежет. Обернувшись, женщины не было. Вместо неё толкались и гудели неопознанные люди с огнетушителями. Каждый спрашивал друг у друга, что делать. Живоёр всё смотрел на два этих полюса — дымящееся крыло и люди с огнетушителями.

Кажется, он встревожился, и проснулся. Проснулся на своём месте, как и прежде. Сосед читал газету, живой. Живоёр не мог вспомнить, какие речи были действительны, а какие нет, и потому внимательно осмотрел соседа.

— Прошу прощения, — приблизился живоёр. Видимо, дожидаясь этого самого прощения, живоёр молчал, облизывая губы. Сосед из-под лба улыбнулся и наклонил голову. Живоёр продолжил: — Мне показалось, что вы были не одни. Вы заходили в самолёт с женой, не правда ли?

Сосед рассмеялся, оскалив белые зубы. Он отвечал, не смотря на собеседника и читая газету:

— Позвольте, я вдовец вот уж много лет, вы ошиблись.

И он широко улыбнулся. Улыбка не спадала с лица до тех пор, пока он не перевернул страницу.

Живоёром овладело доселе неизвестное ему чувство. Его сон был довольно спокоен: он не вспотел и проснулся в быструю фазу. Но что-то смущало краски его спокойствия. Теперь не так, как раньше.

Живоёр решительно и настойчиво произнёс, обращаясь к соседу:

— Вы иезуит?

Сосед посмотрел на него, как ребёнок смотрит на пьяного человека.

«Он думает, что я не себе», — размыслил живоёр, пока сосед рождал ответ.

— Вовсе нет. Я заметил, у вас странные, господин, — странные предрассудки обо мне. Позвольте мне почитать. Ладно?

Живоёр согласился. Но совсем скоро он ощутил в ногах нетерпеливую злобу.

— Извините, я встревожен. Мне снился сон с вашим участием, и я не могу понять, припал ли наш диалог на явь.

Сосед отложил газету с шуршащим негодованием.

— Право, не знаю ничего. Что вы хотите от меня? Мы перекинулись парой слов ещё тогда, когда занимали места. Что вам не сидится молча? Я читаю, я занят. Я не намерен вам отвечать.

— Во сне вы сказали, что убийство — страшнейший грех, и я вас убил. Вы умерли у меня во сне. Я убил вас своим бездействием. А знаете, что было потом? — Живодёр опередил возмущённый возглас соседа и продолжил: — Потом явилась ваша жена. Вот почему я спросил вас об этом.

— Мне категорически наплевать! — покраснел сосед и встряхнул газету так, что порвал её пальцем. — Вы что? Замолчите! Я не послушаю себя и прикончу вас! Слышали, что я сказал? Прикончу!

Живодёр явно понял, с кем имеет дело. Образ из сна отличался своей добротой и мудростью.

— Я предположу, что вы всё-таки не христианин.

— Я не христианин! — сосед словно гавкнул, а не сказал это.

Нечего было делать. Разгорячённый живодёр решил проводить досуг за упорным наблюдением облаков. Радость есть всегда, и он её нашёл — свою радость; он приближался к Бразилии. Нахлынуло чудачество из сна: речь соседа о том, что он летит в Деригилимо на могилу своей матери. (Стоит отметить, что такого города не существует.) Живодёр отметил.

На нервы действовала духота. Затем начинал ныть и стонать затылок от неизменной позы в кресле. От этих неприятных ощущений поднималась верхняя губа и сжимались губы. Голова живодёра перекатывалась с плеча на плечо, думая, что удобное положение, избавляющее от напряжения, можно найти. Терпеть такое не хочется, надуваются вены. Если же взять в учёт и то, что живодёру постоянно требуется окровавленная разрядка, которой он не может сыскать всю дорогу, становилось тревожно.

III

Его детство пришло на послевоенные годы. Отец вернулся с поля боя на щите. В стране произошёл кризис, никто не рождался. Может быть, некоторые семьи упорно этого хотели, однако их дети являлись в мир очень бренными и слабыми, отчего умирали. Проблема вырастить социально здорового человека многим показалась сложной и затратной. Следовательно, те, кто по каким-либо причинам остался в стране, тихо затворничали и ели гречку. Под откос пошли огороды и деревни более не окружали города.

Живодёр рос тихим и алчным ребёнком. Он боялся людей и собственной смерти. Он высох, как трава, похудел и вытянулся во весь рост. Как крайне сухому, ему хватило малейшего проблеска огня, который впоследствии съел его кости и то, что он называет порядочностью.

Идя по оживлённой дороге, живодёр вспоминал своё первое убийство. Это была жаба, маленькая ребристая жаба, которую он препарировал без единого хирургического знания. Ему было легко

признаться самому себе в том, что он убивает лишь тех, которые не могут убить его. Он обречённо улыбался и говорил, что ему стыдно быть хорошим.

Через несколько лет после смерти матери живодёр приобрёл лицензию на охоту. Купил маленькое ружьё. Комиссии психотерапевтов сказали, что он здоров. Но это всё не важно.

Он стоял в магазине бытовых товаров. Продавец напоминал выходца из Тайваня, с тёмно-серой собачьей бородой и маленькими посаженными глазами. Живодёр не понимал ни единого слова, но всё же успешно заполучил ножи и мясорубку советского образца.

— Привет, я вижу, ты наш.

Живодёр обернулся посмотреть: толстяк в каких-то красных одеяниях, похожий на ленивого рыбака, приветливо растирал ладони. Когда он глотал, у него неприятно шевелился зоб.

— Приветствую, — ответил живодёр.

— Как тебя звать?

— Так не знакомятся.

Толстяк смотрел.

— Я не скажу вам своё имя. Я спешу. Позвольте.

— Куда ты спешишь?

Живодёру вмиг надоел этот разговор. Он выругался про себя и пошёл к выходу. Однако остановился на полпути.

— Как ты считаешь, убийство — это самый страшный грех?

— Верно, после равнодушия, — ответил толстяк. — Я сразу просёк, что ты из наших, сразу.

— Каких?

— Жестоких. Приятель, ты улыбайся чаще. Это Бразилия. Здесь люди.

Живодёр задумался под странным гнётом его слов.

— Люди?

— Я тоже оттуда. Я работал инспектором в колонии, пока не доработался до диабета. Я тоже жестокий, как и ты. Я вижу это. Это Бразилия. Это место для каждого из нас.

Он подошёл к живодёру и сказал ему шёпотом, что ему не стоит никого убивать, лучше пройти с ним в пивную и обсудить вопросы. Живодёр отказался и бросил уже в дверях, уходя:

— Мать ждёт ножей. Я спешу. У нас поминки.

И он исчез.

Толстяк презрительно покачал головой и протянул насмехающимся голосом: «Поминки. Ха!»

Живодёр чётко решил, что покинет Сан-Паулу лодкой. В другом городе он должен истратить все свои деньги и остаться ни с чем, но счастливым. Переночевав, он двинулся прочь. Как легко найти еду, имея

монету в кармане! Ранним утром следующего дня он стоял на высеченной солнцем степи у обочины, наблюдая, и, кажется, разговаривая с каким-то работником. Он представился как дневальный лодочный станции.

Воздух пахнул густой и спелой травой. У обочины, вытоптанной автомобилями и людьми, совсем с краю росли преклонившиеся кусты с сизыми зелёными ягодами. Это заинтересовало живодёра, и он нарушил хранившееся молчание между им и дневальным.

— Не скажете, что это за ягоды?

Дневальный отвлёкся и живо посмотрел на него, на кусты.

— Ядовитый бурьян, — ответил он, — не ешьте.

— Что же, почему люди до сих пор не уничтожили его? Ведь какой-нибудь ребёнок может этого не знать.

Лодочник пожал плечами. Всё шло к тому, что разговор окончен. Но живодёр поспешил исправить это и спросил его, много ли здесь подобного — ядовитых, но на первый взгляд съедобных кустов. Дневальный указал пальцем на какие-то холмы, поросшие полевыми жухлыми цветами. За ними простирался маленький лесок, напоминающий джунгли.

— Туда не ходят. Я скажу так — здесь почти не ходят. Малолюдно. Только лодки. Людям более неинтересно. Растут себе гады, ну и пусть.

— Они *смертельно* ядовиты? — спросил живодёр.

— Кажется, да. Поганка. Парализует человека.

Живодёр дотронулся до одной из гроздьёв ягод, спрятавшейся за пухлыми листьями. Твёрдый, как шиповник. Он сорвал одну. После нескольких секунд колебаний ещё сорвал. Видя слегка удивлённого лодочника, живодёр попытался оправдаться:

— На чай; знаете, люди способны находить полезные свойства в ядах. Вспомним алкоголь...

Лодочник кинул без тени сомнения.

Живодёр сел у реки. Поигравшись с ягодами, он сунул их в карман и объявил лодочнику, что готов.

— Давайте собираться.

Лодочник пошёл запрягать. Наклонившийся у деревянной лодки на привязи, он слегка встревоженно поинтересовался у живодёра, знает ли кто-то, что они находятся здесь. Живодёр был уверенный и скромный.

— Несомненно, — говорил он, вставая. — Нам стоит поспешить. Нужно добраться до... Простите, вылетел из головы. Какой здесь ближайший город?

Лодочник, что-то поднимающий, сильно вспотевший, с натугой в голосе сказал:

— Деригилимо. Ближе нет.

Но живодёр не ощутил того чувства, когда один человек дополняет другого. Наоборот, он смутился.

— Повторите.

Лодочник обернулся на него. В этот момент ему не хватало травинки

во рту.

— Деригилимо. Туда — без проблем. А дальше... Мне тоже, знаете, нужно остаться чистым. Только Деригилимо.

Когда дневальный лодочной станции позвал его садиться, живодёр попросил осведомить его об этом городе. Лодочник странно на него посмотрел. Живодёр сказал, что он иностранец. Однако подозрение, зародившееся в этих глазах, никуда не хотело уходить. Впрочем, ему пришлось поведать о городе Деригилимо, и живодёр узнал для себя много нового.

Первое, больше всего удивившее его, — это форма городского ландшафта — атоллы (Деригилимо вплотную прилегал к архипелагу и несколькими островам.)

Второе, это маленькая численность населения и ужасное запустение хозяйственной деятельности. Лодочник подчеркнул, что город не имеет прочных административных законов, славен здесь, пожалуй, только лесбийской проституцией и вкусными наваристыми супами, по описанию схожими на щи.

— Я первый раз слышу об этом городе, — признался живодёр. — Может быть, он не нанесён на стандартные карты?

Дневальный отрицательно покачал головой и развернул карту, где маленькими буквами живодёр всё-таки прочитал название заветного города.

— Поплыли точно? — с недоверием спросил лодочник.

Живодёр энергично подтвердил догадки сопровождающего.

— Вы не думайте, что я обманщик или разбойник, — говорил он.

Вёсла начали грести быстрее. Под вечер проплывали около большого канала. Лодочник с интересом представлял себя в роли гида и показывал местные достопримечательности. Живодёру на них было очень наплевать.

Лодка остановилась. Дневальный встал, вышел из лодки и пришвартовал её к небольшому деревянному колышку. Застилая собой небо закатных цветов, больше всего он выделялся своей бородой и острым подбородком. Он был немолод. Живодёр кинул на дно лодки мешочек с деньгами. Лодочник кивнул ему на прощание, когда тот встал и молча вступил на берег Деригилимо.

Живодёр всю дышал, будто вот-вот задохнётся. Выглядел он изломанно, как пальцы. Глядя на него, создавалось устойчивое ощущение того, что он боится дальнейшего, опасается словно бесед, шагов, убийств.

Деригилимо выглядел крайне зябко. Казалось, что несколько часов назад здешнюю землю орошил дождь. Растения торчали там, где не стоило бы, и от этого живодёр брал на заметку, что городом и его благоустройством никто не занимается. Но что судить, когда сам

лодочник упоминал об этом?

Живодёр обыскал своё тело и достал нож. Ему померещилось, что какой-то маленький зверь пробежал совсем рядом, играясь с ним. Безумная радость овладела живодёром. Он согнулся и стал тихо-тихо ползти к кусту, где слышалось больше всего звуков. Мельтешение листьев. Вот он, рывок! Живодёр с ножом в руках появился прямо перед зверем и застал его врасплох. Объект, только что шустро бегающий от него, замер. Это был комок палого листа. В попытках снять чешую листвы с невиданного гостя, живодёр вдруг укололся о торчащие иглы. Он догадался. Ёжик. Большой старый ёжик. И здесь живодёр впервые ощутил себя настоящим человеком.

Пронзив ежа ножом, живодёр засмеялся.

Он услышал стоны и умолк. Вытянув из тушки окровавленный нож, он встал и огляделся. Никого. Он принялся бежать. Вскоре он успокоил себя и объяснил, что этот стон не что иное, как сонные припадки какого-нибудь животного, находящегося в спячке.

Через несколько верст он нелегально приобрёл ружьё, заплатив за него всю имеющуюся сумму. Продавец был ласковый.

IV

Всё произошло слишком быстро, тянуть время — становилось бессмысленно и тяжело для живодёра. В первой попавшейся хибаре, к своему огорчению, он увидел красивый вместительный рыболовный кофр, который тут же захотел купить себе; однако никаких денег с ним не было.

Поживший продавец оказался мужиком добрым и людимым, и поэтому начал вести диалог, для чего живодёру кофр, куда он держит путь и откуда приехал.

— Как же вас занесло в Деригилимо? — спрашивал он. — Депрессивный город.

Живодёр посчитал, что это его шанс.

— Я журналист и охотник, — он указал на разобранное ружьё за своей спиной. — Известили, что на Нечеловечном Острове обнаружили животных, которые были привезены браконьерами из Аргентины. Это очень интересно.

Продавец поддакивал.

— Так вы едите туда? — говорил он. — Нечеловечный Остров? Мой любимый курорт. Любимейшее моё место для отдыха; год назад был там. Нет, подождите, — это достопримечательность нашего города! Много разных божьих существ, совсем безобидных... Но тут вы меня огорчили. Какой бессовестный поступок — заселить остров хищниками! Я ведь правильно вас понял?

— Правильно. Масштаб проблемы берёт меня за сердце. Под угрозой истребления тысячи экзотики. Как, скажите мне, я могу сидеть сложа

руки? Я журналист. Вокруг меня политика. А я буду сидеть и смотреть, как животные погибают от рук других, аргентинских бесов? Отнюдь. Я, как человек, политичен, поэтому считаю своим огромным долгом мало того, что уведомить граждан Бразилии о браконьерах, которые завезли туда совершенно дикую фауну, так ещё и уничтожить нарушителей этого порядка. Я охотник. Я прибыл сюда для благой цели, поверьте мне, — очистить остров от кишаших на нём хищников, указать на проблему, поставить в известность людей, которые, как и вы, любили отдыхать на острове.

Продавец радостно воскликнул:

— А я твердил, что живые люди остались! Вот мне говорят, с гнильцой все твои люди, оставь их; а я отвечаю, вы подумайте лучше, безверные!

— Впрочем, мне нужен кофр, — отрезал живодёр. — Помещу туда ружьё.

— Пожалуйста! Я дам вам дешевле.

Живодёр неловко оскалил зубы.

— Последние деньги я истратил, — сказал он. — Я здесь бедный, неместный художник. Всё накопленное — на ружьё, на билет сюда. Вы понимаете?

— Не стоит. Я понимаю, что вам неловко. Я понимаю! — берите, пожалуйста, этот кофр. Ничего не нужно. Вы боретесь за идею и моего благополучия в том числе. Кто же я? Зверь, что ли? Берите.

Живодёр забрал кофр, попрощался и направился вон отсюда. Ружьё крайне удобно помещалось в кофре. Живодёр был уверен: никаких лишних вопросов у людей, повстречавших его, не появится.

Он миновал пригород, природа сменилась бетоном.

— Простите, остановитесь, — сказал живодёр.

Перед ним, смутившаяся, стояла девушка лет тридцати с красивыми рыжими волосами. (Кажется, только волосы побудили живодёра остановить её.)

— Как попасть на Нечеловечный Остров?

— Вы никак туда не попадёте. Он закрыт. Там опасно, говорят...

— О чём вы? — удивился он.

Девушка отвечала скованно, словно под дулом пистолета.

— Честно, я не знаю точно. Говорят, за зиму там появилось множество ядовитых змей. Государство молчит. Я правду не могу вам сказать, так как сама не знаю.

— Позвольте, мне не нужны подробности. Я представляю органы по защите природных заказников. Скажите, как туда попасть?

— Официально нельзя, — пересиливала себя девушка. — Но если вам...

— Да, нам очень нужно.

— С Капуортоэки можно переплыть. Мы так делали с племянниками. Но я вас предупреждаю...

— Спасибо. Где находится это место?

— Идите к фавелам. Дальше у местных... Город маленький.

Живодёр поблагодарил её и двинулся к абстрактным трущобам, представления о которых не имел.

«Мне простят мои грехи? Я не знаю. Я боюсь думать. Конечно, нет. Я мыслю, следовательно, существую. Нужно не мыслить. Грехов нет».

Живодёра тошнило философией студенческих годов. Ружье бряцало в кофре. Показались трущобы. Он увидел их ещё издали: маленькие здания, по-гречески наслённые друг на друга. Градостроительная профанация. У молодёжи, которая бушевала на грязной траве у битых кирпичей и что-то жгла, спросил:

— Ребята, где здесь находится Капууртоэки?

— Капууртоэки, — повторил грязный вшивый мальчик.

Живодёр понял, что они не знают его языка. Затем он вспомнил людей, чистых бразильцев, которые без труда общались с ним на чистом родном ему.

Он в ужасе обернулся.

— Капууртоэки, — вторил мальчик.

— Где? — озлобился живодёр.

Мальчик нахмурился и указал пальцем.

Живодёр чувствовал себя очень странно.

Вскоре стало известно, что Капууртоэки, о котором говорили здешние жители, оказался базаром. Вид имел до того скудный, что хотелось скорее покинуть его. Там живодёр злонамеренно ко всем приставал, стараясь найти человека, держащего лодку; но все вокруг качали головой и грубо указывали ему путь обратно. Он бродил по базару заморенный и уставший, ничего его не веселило и ничто тревогу не облегчало. Холодное, устойчивое ощущение трупa. Однажды он, выбившись из надежды, спросил у местного лавочника, не лодочник ли тот часом. Затем живодёр ужасно обрадовался.

— Денег нет, — защищался живодёр.

— А что есть?

Живодёр задумался, что у него есть, и, к своему к счастью, достал из кофра советскую (как он полагал) мясорубку. Несмотря на то, что приобретена она была для целей относительно не съестных, а жестоких, сумела победить. И мелкий лавочник, имея лицо никому не доверяющего человека, с жадностью спрятал мясорубку куда-то в себя, словно цыганка.

— Пойдём, — пригласил лавочник.

И пошли. Спустя полчаса недоверия и умело замаскированных угроз картелем — лодка стояла, готовая плыть. Живодёр увидел, что лавочник бегает туда-сюда общаться с родственниками. Однако убедительно он не

мог этого сказать.

— Если ты вздумал меня обмануть...

— Порядочный.

Лавочник, и по совместительству лодочник, кивал. А живоде́р усомнился в том, что какая-либо плата, отличная от денежной, столь же эффективна.

Когда загрузились в лодку, лавочник открыл душу. Рассказал о сопровождающих его всю жизнь обманах, о потере уважения к чужому человеку, о боли в груди (говоря это, он кривил лицо). Живоде́р соглашался и утешал лавочника. Приведя в пример стоическую формулу, живоде́р убедил лавочника в существующей надежде; кроме того, заставил пересмотреть свои взгляды на человека со стороны великой вариации его в обществе. Лавочник благодарил. Частое упоминание своих родственников он считал актом любви. «Добрее их, — говорил лавочник, — на свете нет». Иногда живоде́ру казалось, что лавочник совсем не тот, за кого себя выдаёт, но разбираться в этом ему не хотелось. Сдалось оно!

По приплытии лавочник много харкался и думал о чём-то. В метрах ста от базара возвышались взгорья, интересуясь за них у мужчины, живоде́р узнал, что Капуортоэки называется так неспроста:

— Капуортоэки. — Лавочник хмуро молчал. — Не знаю, так горы называются, мы через них прошли.

— Вы читали Маркеса?

— Лучше уточнить.

— «Сто лет одиночества».

— Точно не скажу, я не люблю читать; посадил глаза, прикладываю капустный лист, а толку? Очки не ношу.

Живоде́р хотел сказать о вымышленном городе, упоминаемом на первых страницах. Маркес назвал его именем фермы, возле которой родился... Но с кем он пытается это обсуждать? Нет, для чего? «Глупая, глупая мысль! Я безразлично начитан».

Так, узнав, что базар коррелируется с горами Капуортоэки, он громко рассмеялся. Лавочник отплыл. Живоде́р подумал, что стоило бы расспросить мужчину о Нечеловечном Острове, но было поздно, и он стоял на берегу дикой земли — по-другому не сказать. Определить время было нельзя, посему живоде́р перестал пытаться закопать палочку в песок. Солнце не двигалось, стоя на небе. Капельки пота сквозили через одежду. По мере удаления от берега живоде́р всё реже замечал следы человеческого присутствия: осколки стекла, битый шифер, кирпичная пыль, полиэтиленовый и целлофановый пакеты, обёртки и ещё кучу всякого дерьма. Исчезали из виду мангалы. Сожжённый мусор сокрывался под слоями ядовито-зелёной свежей травы. Он понимал, что вся живность находится в чаще, и шёл аккуратно. Разбужившие его загляденье шорохи вынудили живоде́ра осесть на землю, открыть кофр, собрать ружьё и начинить его крупнокалиберной дробью. Он гладил

цевьё и искренне улыбался. Когда встал распределить ножи по телу, не трудно догадаться, кем ощутил он себя в эти минуты.

Что, если бы Раскольников был сильнее? Устоять перед свидетелем, лакая дрожь... Да вот что.

Множество раз он усомнился в том, что остров заселён животными. Сколько бы ни прошёл, не попадались на пути даже птицы. Усталость заняла место в его ногах и каждый шаг давался через силу. Порой он задавался вопросами, зачем продолжает идти по сухой земле. Его печённые плечи натягивались и болели, когда он поднимал тяжёлую руку, чтобы убрать колышающуюся ветку тамарикса или любого другого сорняка, название которого на латинском он не знал.

Хотелось стрелять, но не в кого. Словно грибник, рыскающий осенью по лесу, живоде́р проверил мягкие кустики и большие, пёстрые плодами, но ничего не желало у него получаться. Весь мир, подумал он, настроен против, и тогда в измученную голову живоде́ра забрела долгая мысль: ведь вражда, по своему определению, способна быть только относительно кого-то. Если убрать всю божью тварь с Земли, что же станет с понятиями добро и зло? Пожалуй, и соперничества никакого не будет. Однако, отметил живоде́р, никак сознание преобладает в данном понимании. Человек и зверь столь же разные, как зима и лето, хотя оба относятся к одному циклу.

Первая радость, вспыхнувшая в нём, оказалась обнаруженной мёртвой обезьяной, которую ели чёрные и белые черви. Это означало, что стаи живых обезьян находятся где-то рядом, ожидая протянутых рук живоде́ра. Часть острова, на которой лежал труп, можно было бы смело назвать тропической. Так решил живоде́р. Он увидел недалеко от него разбитые и выпитые кокосы, песок, перемешавшийся с землёй, перья, чаще красные, чем синие. Поднимая голову и осматриваясь, живоде́р наблюдал, что несколько сотен метров отделяют его от пальмовой рощи. Там же, куда он держал путь, светило солнце, превращая бледно-жёлтый песок в бледный окончательно. Несомненно, там жарко, там фактически страшно.

Живоде́р исследовал труп обезьяны на наличие повреждений, но никаких ран не нашёл, из чего сделал вывод о естественной смерти. Хотя как угадаешь, живя на белом свете?

Ружьё в руках доставляло чувство неудовлетворения. Может быть, оно сравнимо с тугой болью в голове, которая, появившись у очень усталого и сонного человека, не даёт окунуться в сон в течение многих часов.

Он пошёл туда, где солнце. Пот смазывал кости, пахло водой, белым цветом. Всяческими способами живоде́р старался убедить себя, что

скоро солнце исчезнет, а трусливые звери, забившиеся в норы, выползут из домов кого-нибудь сожрать. Ноги оступились, тело живодёра вздрогнуло, он поднял ружьё и выстрелил. Из-за поспешности ранил ладонь. Произошло, впрочем, нечто странное, ибо ему достоверно показалось, что кто-то сжал его ногу в кольцо. Выстрел был нацелен вниз, и дробь лишь открыла ему глаза, спугнула с поверхности ямы листья. Конечно, никого нет. Внутри маленькой ямы сгнившие сухие суки до того затвердели, что спутаешь эластичное мясо и кость в середине с каким-то неестественным пеньком.

Ведь всё верно. Живодёр шёл и смеялся, прокручивая в голове случившуюся оказию. Как смешно! Ну, или глупо! — живодёр не замечал разницы. Он, стоит признаться, был не в себе. Полагаю, остров на него сказался подобным образом. Когда попадаешь на поле, о котором мечтаешь, автомат уже не кажется оружием, и слова, безрезультативные прежде, обретают красоту. Нет, силу. Да что там! Они становятся апокрифом твоего вероисповедания.

Живодёр вышел на песок. Солнце неуверенно отдалялось от зенита. Более того, надвигались облака, соединённые в один комок. Какие неприятные облака! Потом разлилась приятная ненависть: пальмы выглядят слишком прекрасно, чтобы злить лицо. Однако приглядевшись, живодёр с удивлением обнаружил, что это не простые пальмы, а гнёзда — со свисающих лиственных кос тянулась сухая трава. Взобравшись на маленькую пальму, живодёр рассмотрел подробно устройство гнезда: трава всех разновидностей, преимущественно жухлая, под небольшими изгибами закруглялась с другими; их было настолько много, что гнездо с трудом удавалось пошевелить, а размерами оно было так же велико, что живодёр мог поместиться спокойно, не согнув колени.

Яиц не было. Была скорлупа. Живодёр не представлял, к какому животному её можно отнести и насколько тривиально это — вить гнёзда на пальмах?

Судить не ему, он не знал. А скорлупы, что ужасала его время от времени, было очень много. Долго всматривался в неё живодёр, понимая: это одно большое яйцо.

Живодёр двинулся дальше, и на расстоянии песок блистал всё ярче. Он вышел в пролесок. Здесь явно слышались звуки, издаваемые зверем. Подняв голову к небу, он увидел, что на деревьях, увешанных тленными розовыми лианами, балуются обезьяны. Они протяжно стонали, перепрыгивая с одной ветки на другую.

Живодёр подумал: «Маленькие демоны», и скинул запотевшее ружьё. Обезьяны не замечали его. С пристрастием он пальпировал курок, пока вдруг не решил, что сейчас самое время выстрелить.

Оглушающий звон сладострастен. Сидевшая на месте обезьяна умылась кровью и свалилась уже мёртвой. Остальные, до ужаса перепугавшись, воспарили прочь, словно птицы, по укромным уголкам.

Живодёр зарычал и спустил курок.

Залп дроби ранил кору дерева сухим треском. Не успевшая спрятаться как следует обезьяна в агонии повисла брюхом на дереве. Её хвост бился за жизнь из последних сил. Затем кровь заструилась вниз каплями. Обезумевшие обезьяны тем временем убегали по земле. Заметив это, живодёр с рвением нацелился на пропащих и усеял выстрелами — беспорядочными и навскидку — заросли, за которыми так же беспорядочно сновали обезьяны. Остановился, когда ружьё истратило патроны.

Он подбежал к скоплению пыли и улыбнулся, ибо два свежих обезьяньих трупа скрючились под кустами. Перезарядившийся выуженными из кофра патронами, он осмотрелся... Убежали. Ножом из-за пазухи он прислонился к меху обезьяны, сделал надрез, будто снимает скальп, и продольно рассёк её, оделив шкуру от мяса. Эта удивительная бахтарма спелого мертвеца возрадовала его, на ошупь она была горячее, а посмотрев на шкуру с обратной стороны, увидел, что вены ещё полные. Но больше всего ему понравилось ощущение скрытых под слоем кровеносных сосудов, будто сало. Живодёр бросил её равнодушно и пошёл по потерянному следу. Однако маленькие демоны не оставили вкрапления своих лап; земля была тверда.

Что же, разве имел он право огорчаться?

V

Его душа заалела. Из серой тёмной в светлую розовую, как щёки девушки. Вдоволь настрадался он. Смертоубийства сопровождали его всю дорогу, прячась в ружье и в ноже между лезвием и рукоятью. Нечеловечный Остров, непременно, радовал, однако живодёру чего-то критично не хватало. Может быть, искусственной жестокости? Такой жестокости, которая достигается намеренным злоупотреблением факторами, причиняющими боль, кровь и стенание? Живодёр помнил, об этом говорил Фёдор Достоевский. Зверь не человек.

Поэтому бесцельно бродил он по лесу, даже не стрелял. Живодёру захотелось схватить сразу всё руками и ногами, облизать языком, потрогать пальцами. Верно быть, он искал что-то, но без привязки к чему-то конкретному.

Слева от него залаял щенок, маленькая вислоухая собака спряталась под лопухом, страхась живодёра. Когда нога позволила себе ступить столь близко к щенку, ему не осталось ничего, кроме как защищать своё место обитания. Скалил зубки и клыки и бесновался. Лапы жал под себя, готовясь прыгнуть. Увидев его, живодёр расстроился в своей доброте. Вот была она — куда подевалась? Живодёр убил щенка из ружья и пнул ногой мордочку. Из мокрого носа животного с неким запозданием хлынула густая кровь, похожая на гуашь. Щенок затерялся в траве

Всё изменилось, когда пошёл дождь. Струи врезались в листья и стекали с них, все растения в лесу заблестели, как от росы, и живоде́ру на миг показалось, что он находится у себя дома, а стук этой прекрасной капли играет по карнизу. Можно ли сказать, что живоде́р тосковал? Можно сказать. Ведь эта тоска прослеживается в глазах. Впрочем, сейчас его глаза похожи на два круглых зеркала, которые отражают поверхность неба. Тёмно-серое.

«Сегодня надо мной повисло казнённое дождливое небо, — признавался он. — И мне вовсе не жаль использовать чужие мысли».

Это было семь лет назад. Из всех броских классиков Германии и Франции на приметку ему упала совсем блёклая книжонка, называющаяся «Сонное село». Он прочёл и в тот же день позвонил кухне Матолли, горько плакал о прощении, о прошлом и говорил, что благодарен ей. К его сожалению, сестра не отреагировала столь же эмоционально, и живоде́р попрощался с ней, считая, что во всём виноват только он.

В описанном селе небо источало человеческие скорбь, тошноту и радость, но и в начале, и в конце небеса предоставлялись казнёнными: «Ткнув пальцем в землю, всё стало ему ясно. И этот дождик тоже ясен. Наверное, это то, — подумал он, — о чём предупреждала Ваки».

Странно повертел ружьё около своего рта. Он даже совал дуло в горло. Конечно, он дотронулся до курка и слегка надавил на него, однако больше для собственного унижения. Стрелять он не собирался.

Выйдя под открытое небо, дождь свежей питьевой водой затёк по его телу. Матовое ружьё стало отражать. Он улыбнулся себе. Не хотелось кончать жизнь. Зачем? Он налаживал такое будущее годами, чтобы сейчас стоять на бразильском острове и мять курок? Нет же! Ветра не было, туман. Сколько копилось воды в этих облаках? Натерпевшись, они рвутся и, как человек, сгорают. А приглядываясь к окружающей среде, живоде́р видел, что животные спрятались в свои дома. Дупла, норы, гнёзда и скалы. Но ему не было куда спрятаться. Может быть, это тепло — иметь семью и дом, не бояться ничего, ничего, просто ютиться вместе с ними, когда в помещении прохладно, даже летом, и темно. Вещи не валяются из рук. Иконы играют свою роль. Он представил себя в таком положении и загрустил. Если бы в этот момент его маленькая дочь, носящая имя матери, будет брать котёнка на руки и гладить его уши, то никакой злости к этому безвинному зверьку, пожалуй, он бы не испытал. «Ну и хватит! — закричал он себе. — У тебя такого нет!» Действительно, нет. В горле образовался тромб слюны, и живоде́р понял, что нужно идти.

Путь был мал, до реки; она рассекала остров тонким серпом, поэтому отдыхавшие здесь бразильцы проложили большие брёвна вдоль русел.

«Я приду к реке, но я знаю, что не прыгну». Так для чего?

Рыбы, которую можно было бы убить, не оказалось.

Нет, нет, нет! Откуда в груди этот жар? Что он хочет? Живодёр был готов ненавидеть себя за это. Он поник, и весь его удавшийся план, подходящий к завершению, вдруг пополнился. Он вспомнил мать, отца и Матолли. Как он желал их обнять! Захотелось немедленно получить высшую меру наказания — пожизненное заключение, ибо смерти он по-прежнему боялся. Тяжелее всего, когда твои желания и мысли конфликтуют между собой, и живодёр не мог этого выносить.

На базаре Капуортоэки никого не было. Продавцы разбежались, каждый к своим детям. И он шёл дальше. Конечно, не повстречались на пути и та девушка с рыжими волосами, что подсказывала дорогу, и вшивые мальчишки возле кирпичей. Не было времени искать оружейника или дневального лодочной станции: живодёр кипел, и ему хотелось ныть. Поэтому, взвесив все места, где он побывал за этот день, живодёр пришёл к логическому консенсусу — направиться в хибару.

Он открыл дверь тихо. Продавец, несколько часов назад даром отдавший кофр, сидел у прилавка и разглядывая янтарный камень. Наблюдение им кузнечиков и исходящая из этого полуулыбка исчезли моментально, как настроение. Стоило бы догадаться, каким живодёр пришёл к нему: руки в скорлупе крови, взъерошенная одежда и взгляд отсутствующего человека. (Хотя не стоит судить по нему.)

Живодёр стоял молча, что-то лезло в его голову, затем импульсивно поднялось ружьё, и поднялись брови в порыве бескостной ярости не то к себе, не то к продавцу. Он начал стрелять, и по мере приближения к продавцу всё сильнее кривились живодёрские губы, что увидеть в них злость стало невозможным.

И вот продавец потерял лицо, оно скрылось за ошмётками щёк и нижней челюсти. Крови было так много, что бурлила. Внезапно выстрелы прекратились, но живодёр не понял, почему. Обезумев слепой, отчаянной грустью, вырвался он из хибары и сел под окном. Пальцы нашли ягоды в кармане. Проглотил он всю горсть, сидел, чего-то ожидая... Его стошнило. Нацелив на себя ружьё, живодёр вспомнил, что все патроны остались в продавце, но всё-таки спустил курок.

Живой и неведимый, он снова забоялся собственной смерти.

Гомицидомания

Страх старше меня. Но я старше, полагаю, его младшей сестры — гомицидомании.

Преодолевая второе, я не преодолеваю первое. Затем меня надвое рассекает чёрная черта.

Угарный газ

Шабуоса и Млекени посадили в одну камеру, размерами ничем не отличающуюся от лифта. Наверху горела яблочная лампа, своими проводами уходя за железо-бетонный каркас. По бокам, на стене, висели фотографии, каждое фото иллюстрировало агонию в свой, какой-то определённый период времени. Пол был резиновым, упругим.

Заводя их сюда, диспетчер сказал:

— Не знаю, каково это увидеть бога.

У Шабуоса странная шаркающая походка. Ровно как и шрамы на щеках и кадыке, всё получил в Непале, по неосторожности своей. А Млекени так и вовсе орудовал в Южной Америке. Трудно поверить в сказку только человеку взрослому, а мы здесь все находимся в наблюдении, наши мысли очищаются и становятся первородными, химически неактивными.

Мы — дети. Диспетчер — глупый человек, однако в его власти два учителя. Поверьте, он хотел не научиться, он хотел, чтобы они не могли учить. Или я, или никто! Так почему же диспетчер глупый? Шабуос и Млекени сыграли свои роли и вышли победителями. Они убили, но остались, на самом деле, безнаказанными.

В угоду диспетчера их лица отображали библейскую скорбь.

— Мы принимаем смерть, — безразлично сказал Шабуос в микрофон.

— Ты нас запомни, подонок. Мы встретимся в аду.

Диспетчер помолчал несколько секунд, слабо улыбаясь. А затем приблизился к микрофону и бросил:

— Ада нет.

— Ты же там не был.

— Бог милостив, — улыбнулся Шабуос, — он внедрил грех в жизнь.

Рычаг, глухой скрип, заводные шестерёнки и глухой стон. Угарный газ образовался через три минуты непрерывного горения какой-то ужасной смеси. Дойдя до животворной концентрации, угарный газ обомлел: его курили, как сигаретный дым. Шабуос и Млекени просто курили свою смерть.

Кошмар

Взмолившись на образ, человек, запахнутый в белую рубашку, отпил из чугунной чаши горькую брагу.

— Виноград, видно, — не зелёный, — сказал он.

— Зелёного нет.

— Нужно было бы поискать, — язвительно нахмурился человек в белой рубашке. На нём она казалась уж сероватой.

— Но где же — зимой? — оборонялся другой.

Человек посмотрел на брагу, его густые чёрные брови согнулись, и он слегка хлопнул по столу в нетерпении.

— Нужно было бы найти! — сказал он. — Ты невероятно мал; что тебе мешает делать глупости? Выйди на улицу да найди виноград! Зимой!

Человек в белой рубашке опомнился (так это, по крайней мере, выглядело), мимолётно взглянул на медного Христа и перекрестился с вот такими восклицаниями:

— Будет тебе царство. Яко ты нам дал. Матерь Божия. Все святые.

Потом вдруг встал и сказал:

— Спасибо боженьке за день. — Человек посмотрел на безликого: — Встанешь? Да скажи ты, богомолец! Тебя бичом бить, чтоб ты вставал? а?

— Ну, какой же бич! — смеялся он и вставал креститься.

— А такой, — и человек, запахнутый в белую рубашку, показал кулак, трясущийся и худой, бледный, как церковный воск.

Безликий его перехитрил и показал сперва кулак, а затем дулю.

— Вот наша жизнь.

Человек принялся собираться, вид у него стал деловитым и проворным.

— Вот, вот. Так и будешь жить, — он показал дулю. — Настроен дулю сосать — соси. У меня с тобой никаких отношений, ладно? Я тебя не знаю, покидаю твой дом.

Безликий утешался:

— Вернёшься быстро. Только дам знать, что завоз, так вернёшься. К чему эта кутерьма?

Человек потрогал волосы безликого запанибрата.

— Ах, ты дурак непроглядный!

Потом он ушёл из помещения.

«Какой он, однако, щеголь! Или не щеголь, а что похуже!»

Безликого, впрочем, звали Негой. Неясно, что за имя! Говорят, за внешний вид, постоянную усталость и страшную, коварную лень. Нега думал, что этот человек в белой рубашке слишком много о себе думает. «Как же это выносить? Люди, имеющие деньги, не видят в других себе подобных. Это кошмар».

Неге, как очень бедному торговцу очень бедным вином, были ясны основные правила поведения в алчном обществе. Человек, пришедший к нему и ушедший столь же резко, интересовался не только брагой Неги, но и им самим. Почему? Да кто же его знает! Богатая ящерица, христианин и хлыщ! — для одного человека столько несовместимого, что складывается впечатление о несомненном контракте с каким-нибудь дьяволом. Ох и дьявол!

Нега думал: у богатых людей — кровь густая; гуще, чем у него.

Дьявол говорит: «Надо кровью!», а он ему: «Надо кровью? На кровью!»

Нега встал, походил взад-вперёд и занавесил образ простынкой.

— Не пули ты!.. Верую!..

И снова дьявол стоит и повторяет: «Надо кровью!» Человек вторит: «На, на кровью!» — палец давит, всё пытается пустить немного.

Нега стал размышлять и прилёг на тёплую кровать. Истома обняла его, и так лежали вдвоём.

И вот Неге приснился сон.

Человек, запахнутый в белую рубашку, стоит на одном колене и грызёт свой палец. Он кричит, что «На, на кровью!», а дьявол тихо, медленно так уходит назад, в липовые деревья; это в лесу. Солнце жжёт человека, он теряет силы и думает: «Вот!.. Выпили из меня всю кровь, бедный я! бедный я!»

Но тут сон дёрнулся кошмаром. Дьявол возвернулся и наступил на него. Человек лопнул, как комар, и нога дьявола, придавив его, оставила длинный жидкий след, напоминавший невежественную улыбку и, вместе с тем, почётную роспись.

Зонталь

На вечерний Зонталь опустилась ночь. Неопрятные деревья стали похожими на свои стволы, но плоды, так или иначе присутствовавшие на веточках, отдавали алой синевой и сияли. Это необычный лес. В густой дикой траве сидела, раздвинув ноги под задом в сэйдза, юная принцесса Алуина. С её весеннего лица не сходила задумчивость, глядящая то на лук на худых руках, то на небо-краску, своеобразно выступавшее яркими созвездиями. Красиво вечерами в Зонтале! Поспорит только тот, кого здесь нет; но и он прикусит язык.

Родина для Алуины была священным и единственным местом, за которое действительно разумно отдать жизнь. Представляя в своей головке, обведённой золотисто-зелёным венцом, трагическую войну, Алуина пускала одну слезу по правой щёчке и утирала длинными пальцами две слёзы на левой. «Вот! — думала она и хихикала, — не страшно мне полить родную земельку кровью! А пусть и так. Не страшно мне! На месте моей гибели возрастут цветы».

Когда становилось совсем темно, Алуина зажигала небольшой походной факел, вешала его крючком на дерево и грелась. Опасно видеть принцессу в таком интимном свете — заколдуют чары любовные, не отвертись по итогу. Тетива натягивается, как голое лоно женщины. Алуина рисовала на своих губах рассвет, однако тот не являлся. Любый мужчина боялся её скромного дразнящего поцелуя, который она могла подарить первому встречному путнику. Сокрушительная власть наделяла её. Она близко, её ротик змеится, язык — угрём, только чело выглядывает, копошится — попробуй не поцеловать тут. А только это всё-таки происходило, Алуина сверкала малахитовыми глазами и, смотря чуть ниже глаз собеседника, смеялась:

— Теперь ты будешь носить бремя!

Мужчина в ужасе от её слов:

— Какое?

— Беременность! — весело приближалась она к нему.

Путники видели её до блеска чистый, пахнувший травой лук. И не стоит воображать себе окровавленное остриё стрелы или буро-зелёную, отливающую ядом, влагу — пожалуйста, не обижайте Алуину почестями такого рода; добро у неё в груди.

Казнь здравого смысла

Стоять было неудобно: голову сдавливал тугой мешок, а толстая переплетённая верёвка — шею. Я наклонялся и шевелился, как прибитое ногой насекомое, подавая признаки жизни; но это ничуть не умаляло ужаса моего, к огромному сожалению созревшего в столь поздний час.

На эшафоте постоянно что-то скрипело. Я слышал, как доски прогибаются под тяжестью веса и времени моей ступающей ноги и, вместе с тем, слышал скрежет зубов, трущихся даже не об себя, а о дёсны. Резиновый звук до блеска начищенного металла. На это обращаешь внимание сразу, стоя перед фактом, стоя в объятиях агонии. Передо мной гудел люд. Но что я мог расслышать в этой фальшивой какофонии, состоящей из бредового гортанного воя, крика и хохота? Мне и вовсе казалось, что на этой шибенице сейчас издохнет частичка смысла людей, глядящих на неё. А рядом кто-то ходил, грубые голоса отдавали приказы высоким. Потом меня ударили по ноге; не знаю, случайно ли. Вот и подняли на возвышение трёх ребят. Они были законно виновны в государственном предательстве, и на своих агитационных плакатах смело рисовали нечто анархическое, похожее на то, что вскоре произойдёт с ними. И вот они упали, но петли вовремя спасли их. Невыносимая радость разлилась по их телу. Нательные крестики попадали и бряцали на мокрой от слюны древесине.

Умирая, толпа внятно кричала: «За правду!»

Какую правду? Я совсем потерял ход событий. Те трое отмучились и испустили бунтовской дух.

Настала очередь моя. Долго шли приготовления. Толпа сходила с ума: меня хотели помиловать. Стоит сказать, что я не сделал ничего плохого, чтобы за это быть повешенным, — с самого рождения я заполняю людей собой, дабы они никогда не приходили на казнь.

Горе

В тёмной земле явились мои руки. Искавшие мольбы, они сгибались и отрывались, пока не отпали; каждый по отдельности зашевелился, будто червяк. И все они начали ползти. Но я не видел ничего, кроме сплошного мракообразия перед глазами; и я не был похоронен толком.

Мои пальцы лишились ладони и решили идти по своему пути, но я этого не замечал и продолжал двигать рукой. Спустя несколько времени налетели коварные птицы, жаждущие поесть пальцы. Каждая птица схватила по одному. Со стороны мои руки выглядывали из земли голыми конечностями. Проходящие мимо лежебоки не могли сознать меня.

Они были поглощены идеей мономифа, и я был зовом, на который те должны были откликнуться. Гнусавая гордость завладела мною во мгновение слепого глаза, я весь восстал из земли, как переродившийся бог, и предстал всем своим телом, состоящим из плоти и патоки, визави.

Один лежебока испуганно спросил:

— За что ты нас проклял?

Тем временем я обнаружил отсутствие пальцев на патологических ладонях и рявкнул с усталостью в душе:

— Неоказанная помощь — греховное воздаяние.

Из моих трубчатых локонов струилась, как мёд, патока.

— Мы не воздали то, в чём сами нуждаемся. Не правда ли?

— Правда ли?

— Да, правда ли?

Лежебоки усеяли меня семенами раздора. Патока остановила своё течение.

— Вы все будете отомщены, — сказал я победоносно, — каждый ваш ребёнок будет пить свою кровь, чтобы не умереть; каждая ваша дочь будет умолять стены, чтобы оплодотвориться; ибо не будет у их мужей семени животворящего, будет семя выгоревшее, несущее боль, сквернословие и погибель.

Лежебоки в ужасе пали на колени и воздали мою нужду своими отрезанными пальцами.

— На, забирай наши пальцы; мы воздаём и жертвуем.

— Но разве я о пальцах вас просил? — усомнился я. — Вы прошли мимо и натравили птиц, которые украли мои члены.

— Постой! — мы не забирали у тебя последнее.

Я пустил патоку поперёк по венам и намазал благовонной ею лица лежебок.

— Вы ничего не сможете воздать, — сказал я.

Птицы спустились с неба с пальцами в зубастых клювах. Все пальцы предстали у моих ног.

— Это не моё.

— Это твоё. Возьми и лиши нас греха, о котором ведал. Ты всех нас напугал.

— Мы не виновны. Пальцы сами отреклись от плоти, коя в них не нуждается, и превознесли себя в призму пищи.

— Каждое живое существо будет питаться своей злостью! — закричал я. — Ваши чресла не будут препоясаны. Более того, они будут истощать вас. Злость — ваш мёд! Не ешьте его, и погибнете. Ешьте его — и вы будете страдать, пока злость не погубит вас истощением. Вы узреете, что такое зраки и катаракты, вы забудете собственные имена от расстройств рассудка!

Лежебоки вновь склонились в неумолимом ужасе.

— Что, что ты хотел тогда получить от нас? — закричали они.

— Руки, — ответил я.

— Но как же! Твои пальцы исчезли, и мы испугались. Мы подумали, что ты — нечисть.

— Ты использовал нас бы. Ты встал без руки. Не правда ли?

Я пил патоку из пальцев.

— И кем я восстал, вам не понравится.

— Мы не садили демона! Если так — он всегда был в тебе.

— Это вы — сотворённые, чьи жалкие рты захотели отведать вкус демиургических плодов.

— Оставь попытки запугать нас своим бессмысленным рёвом!

— Нам не страшен абсурд!

— Мы и есть маги, очаровывающие дьявола!

— Будь по вашему; я не ведаю, что творю. — Я распался на прах.

Лежебоки переглянулись.

— Не удалось нас свести с собою, — указали они на землю.

Лежебока вынул яблоко. Поднеся его ко рту, рвота явилась догмой.

Гора

Если же взобраться наверх без прелюдий — неизвестно, кто и как встретит тебя. Ведь сколько тут волков! Обойти же гору — от волков — тоже неразумно; ибо места этой тундры извилисты и белы из-за густых снегов: затаится какой-нибудь белый крыс, как схватит! Бежать тут некуда. А рванёшь — порвёшь штанину о неблагоприятные серые кусты, упадёшь ненароком в яму, вырытую для лисиц и песцов. Так и думаешь-стоишь: «Не застрелиться ли мне?» Что-то себе решаешь, и впоследствии стреляешь в гору.

А с неё чёрное вороньё — шашь! Доедали кого-то, нелюди.

Июнь — август 2025 г.